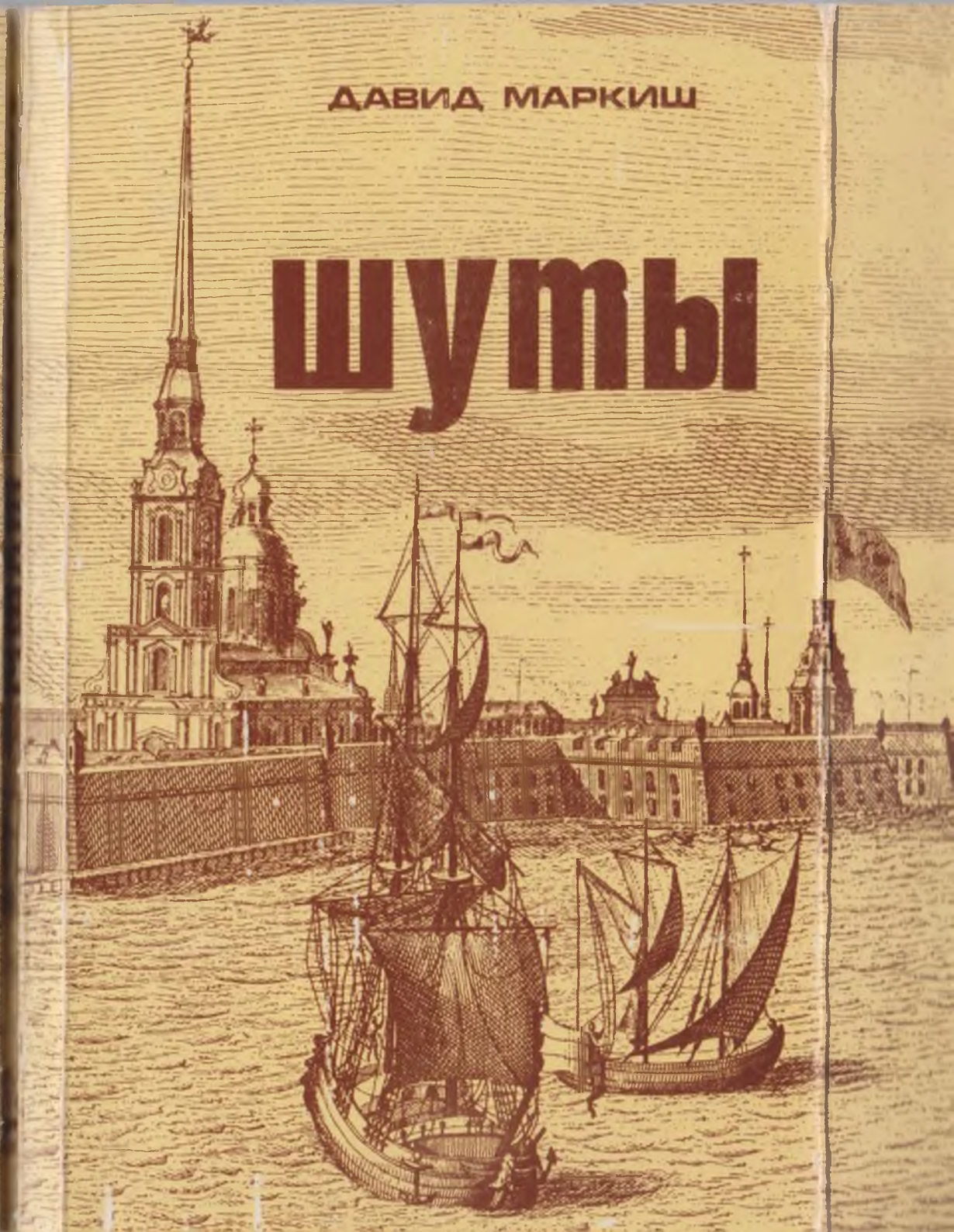


ДАВИД МАРКИШ

# шуты



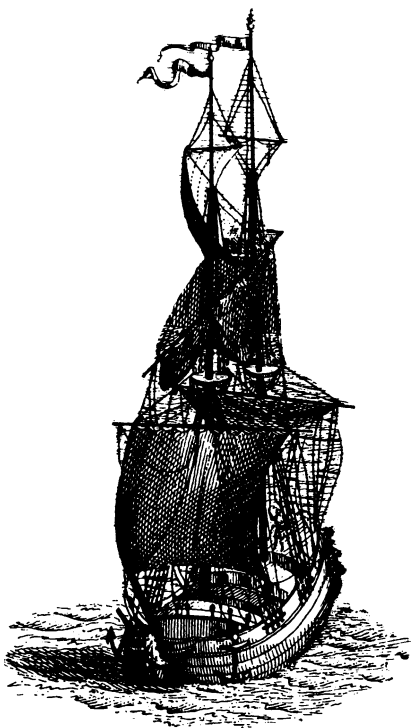


**Тель-Авив**  
**1983**

**ДАВИД МАРКИШ**

# ШУТЫ

**ИЛИ ХРОНИКА ИЗ ЖИЗНИ ПРОХОЖИХ ЛЮДЕЙ  
(1689—1738)**



© DAVID MARKISH

Preparation and publication of  
this work was made possible  
by a grant from the Memorial  
Foundation for Jewish Culture

**Художник-оформитель Рома Анненбург**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

	стр.
1. Шапка. 1689.....	7
2. Пират с острова Св. Младенца. 1697.....	21
3. Еврейский анекдот. 1698.....	41
4. Великая чистка. 1698.....	65
5. Веселый остров. 1703—1704.....	81
6. Турнир шутов. 1709.....	95
7. Прутская конфузия. 1711.....	111
8. Явление Ильи-пророка. 1714.....	147
9. Маша-Ривка. 1715.....	173
10. Царевич. 1717—1718.....	205
11. Чертова кухня. 1722.....	237
12. На плахе. 1723.....	257
Эпилог. 1738.....	277



## 1. ШАПКА. 1689

**В** Панских рядах московского Китай-города не шляхетской честью торгуют; а торгуют там тканью и мехом, одежкой и колотыми дровами, санными и телегами без учета сезона (добрый хозяин готовит сани летом, а телегу — зимой), вином из-под полы и пирогами с лотка, и еще чем придется и что Бог на душу положит: вилами, сырмятиной, овсом, огненным зельем и зельем приворотным в тряпице, сушеной ногой песчаного крокодила, излечивающей от дурной болезни лепры. Когда-то, в давние времена, здесь, передают, вели торг истинные поляки с усами и в кунтушах, а нынче одно название осталось от тех времен, и торгуют в рядах русаки и татарва, жида и саможратцы и жмудь болотная — все вперемешку; но иногда встречаются и полячишки.

Место здесь бойкое, ходовое: еще при Лжедмитриях, в Смуту, прибрали поляки это место к рукам, да так оно с тех пор от рук их до конца и не отлипло. Виден отсюда Кремль, и Василий Блаженный на площади, и людские толпы после дурманного зрелища утренней казни и смертной муки оттекают от Лоб-

ного места к Панским торговым рядам: раз уж притопали ни свет, ни заря со всех концов Москвы и близлежащих деревенок глазеть на палаческое мастерство, то стоит и на базар заглянуть, благо он рядом, поглазеть на товары да на купцов, купить гвоздей, пожевать горяченького... Нет лучшей рекламы базару, кабаку или бардаку, чем пыточная площадь, расположенная по соседству: вид чужой муки и смерти понуждает поскорей тратить деньги, пить и гулять.

Лавка Евреинова стояла недалеко от центра рядов — одна из богатых лавок богатого купца; одежда мужская, женская и детская, полотняная и суконная, шелковая и бархатная, с золотым и серебряным шитьем и простая, вовсе без шитья, была аккуратно разложена внутри просторной крепкой лавки и навалена соблазнительным ворохом на прилавке у входа для оглядывания и ощупывания прохожим базарным людом. При прилавке, впереди и сбоку от него, неотлучно находился сиделец — малого роста и тучного сложения, с быстрым взглядом ленивых глаз молодой человек по имени Петр Шафиров. Ни соратников, ни помощников не было у него в лавке: он управлялся один. Купец Евреинов отдавал должное коммерческим и прочим способностям этого молодого человека, и не без оснований: Шафиров твердо знал счет и итальянскую бухгалтерию, свободно говорил по-английски, по-немецки и по-голландски и ни разу еще не был пойман на воровстве.

Одет сиделец был скромно, но далеко не нище: в просторный мешковатый кафтан коричневого сукна, из-под которого выглядывали темно-синие штаны, заправленные в кожаные сапоги, знававшие лучшие времена. Лениво поглядывая на зубцы кремлев-

ской стены и на сверкающие морозным золотом купола Ивана Великого, Шафиров постукивал озябшими ногами по неоттаявшей еще вглубь земле, по жирной, весенней, убитой тысячами лаптей, сапог и голых пяток глине, перемешанной с конским навозом, соломой и опилками. Апрель выдался в этом году свежий, с холодными по-мартовски утрами и вечерами. Надо бы зайти в лавку, накинуть на плечи тулупчик, да не хочется трогаться с места, отрывать взгляд от врезанных в нежную синь красных крепостных зубцов. Вот так стоять на холодном ветру, на солнышке — и думать, а как бы и не думать... С утра выучил двадцать французских слов, надо выучить еще двадцать... Сегодня на Красной площади одного разбойника сажают на кол, другого дерут кнутом, и еще одну бабу закапывают живьем, — значит, толпа будет большая и люди явятся на базар через час, не раньше... Интересно, правда ли, что царь Петр уже четвертый день не вылезает от Монсихи, из Немецкой слободы, и к молодой жене не ездит. Не зря ж ее, Монсиху, так и прозвали: Петровские ворота.

Прохладно, прохладно, так и лихорадку схватить недолго... Шафиров поплотней запахнул кафтан на груди и, с подозрением глядя на нивесть откуда явившегося разбитного торговца пирогами, ждал, когда пройдет он мимо прилавка с одеждой: пальцы у него жирные, да и на руку он, скорей всего, нечист. А пирожник, ухмыляясь вполрожи, не спешил проходить. Скача в своих лаптях по лужам и далеко разбрызгивая грязь, то ли пляша, то ли просто для согрева, он одной рукой отбивал дробь о дощатую стеночку лотка, повешенного на шею, а другой придерживал дудку, сунутую в рот. Поймав беспокойный взгляд Шафирова, лотошник выплюнул дудку и, скача и паяс-



ничая пуще прежнего, запел, затараторил скороговоркой: "Кому сапоги, а кому и пироги! С пылу, с жару, берите пару! А ежели к ужину, то берите дюжину!"

Нарочно, что ли, он расплясался прямо посреди лужи, этот проклятый лотошник! Тяжелые брызги грязи из-под лаптей летели во все стороны, черная густая жижа легла строчкой на полу бархатного кафтана, выложенного на прилавке.

— Ну, ты! — прошипел сквозь зубы Шафиров и тяжело двинулся на плясуна.

— Вот он я! — пропел лотошник и одним скачком вымахнул из лужи. — Берешь, что ли, пироги? Вот с зайчатиной, с собачатиной, с кошатиной, с лягушатиной! Запьешь водкой — проскочат в глотку! А запьешь водой — будешь весь свой век худой!

Выйдя из лужи и обтряся грязь с сапог, Шафиров прислонился спиной к прилавку. Он терпеть не мог людей, шумно веселящихся ни с того, ни с сего, без всякой на то причины. Этот шалопай с дудкой, худой и оборванный, вызывал в нем омерзение. Такой и в карман залезет, и по морде даст ни за что, ни про что.

А шалопай меж тем продолжал скакать, теперь уже посуху, и свистеть в дудку, и ротозеи высовывались из лавок и глазели на дурака. Шафиров с досадой плюнул в лужу и отвернулся.

Если в речке нет воды, —

держа дудку на отлете, запел лотошник, —

Значит, выпили жиды.

Жид, жид, жид, жид

По веревочке бежит.

Шафиров никак не реагировал на припевки оскорбителя: даже кривой без труда признал бы в молодом

сидельце еврея, и никакие рассказы о крещении папаша не исправили бы положения, а только бы его усугубили. В таком случае следовало молчать и не обращать внимания, по мудрому совету того же папаша Павла Филипповица, бывшего Пинхуса. Да и сам юный Шафиров чувствовал себя более евреем, чем православным христианином, хотя и не придерживался строгих и обременительных правил старой религии своего отца. А папаша, запирая по субботам дверь на большой замок, накидывал на голову белый платок с черной каймой и, оборотясь к стене, молился старому, испытанному Богу. И отец, и сын прекрасно понимали, что креститься следовало, что без этой процедуры нечего было и думать о каком-либо продвижении в Москве, куда Павел Филипповиц, в то время еще Пиня, прибыл из польского Смоленска. А о продвижении Шафиров-сын думал, думал трезво и неотступно, прикидывал и так, и эдак, взвешивал свои и чужие возможности, учитывал и свое написанное на лице еврейство, и папашино крещение, и свое знание языков, и папашины связи в Посольском приказе, где он служил переводчиком книг и документов, и, в особенности, неприметные, но крепкие торговые связи Веселовского, теткингого мужа. Так что свое сидение в лавке купца Евреинова Петр Шафиров считал делом хотя и небесполезным, но сугубо временным — до счастливого случая. Заставить его забыть об этом, вывести его из себя не могли ни дурацкие припевки лотошника, ни какие другие припевки. И, как бы там ни было, припевчик обут в лапти и одет в драную сермягу, а он, Петр Шафиров, разгуливает вдоль прилавка в сапогах и в кафтане. Не следует этого упускать из виду и ставить себя на одну доску с оборванцем.

А оборванец, нагло подмигнув Шафирову на прощанье, пошел, наконец, приплясывая, своей дорогой, и из конца рядов донесся его высокий, переливчатый голос: "Мужики крещеные, вот пироги печеные! С пылу, с жару — берите пару!"

— Ему бы офицером быть с такой глоткой, — подумал Шафиров и, сняв с прилавка забрызганный грязью кафтан, пошел в лавку — чистить.

Он уже старательно отскреб, оттер грязь, когда то ли легчайший шорох, то ли чиркнувшая по прилавку тень заставила его выскочить из лавки вон с резвостью, неожиданной для его сложения. Давешний лотошник на вертлявых ногах поспешно, с оглядкой отходил от прилавка. Он не пел, не свистел в дудку; на круглой его башке ладно сидела новенькая заячья шапка-треух.

Мельком взглянув на пустое место на прилавке, где только что лежала эта самая шапка, Шафиров взревел принятое в таких случаях "держи вора!" и ринулся на лотошника. Лотошник, несомненно, не исключал такой возможности и был к ней готов: ловко увернувшись от бежавшего, как конь, Шафирова, он скакнул в самую середину обширной лужи и завопил из воды на все ряды:

— Эй, люди добрые! Жиды русского человека заравили, кровь нашу сосут! Сюда, люди! Спасите! Пожа-а-ар!

Лотошник рассчитал верно, и Шафиров, остановившись на миг, прежде чем последовать за вором в лужу, отметил этот удачный расчет своего врага: заслышав про пожар, народ побежит сюда со всех концов рядов, и скрыться в толпе, настроенной враждебно к чернявому сидельцу с горбатым носом, русскому пареньку будет нетрудно.

Люди, действительно, прибывали поспешно и деловито, окружали лужу тесным кольцом. Шафиров, шагнув в грязь, протянул было руку, чтобы сорвать с вора шапку — но тот вертелся перед ним, выставив вперед лоток, и выкрикивал нараспев, под ободрительный гул публики:

Я веселый честный парень,  
Не хохол и не татарин,  
Не жидовин и не пшек,  
А чисто русский человек!

Евреиновская шапка была близка, но достать ее мешал лоток. Шафиров, вцепившись в бортики, дернул с силой. Зашейный ремень отскочил, пироги посыпались в грязь. Толпа сердито заворчала. Длинно размахнувшись, лотошник, целя в голову, ударил — но сиделец подвел под удар круглое плечо, и лотошников кулак угодил как бы в конский бок. А Шафиров, сведя руки в замок, двинул вора под ребра, и это было похоже на удар небольшим бревном.

— Наших бьют! — закричал лотошник, лягнув, откинув назад длинное тулово, сидельца под низ живота, бросился к прилавку и одним широким движением смел наземь кафтаны и капоты, шапки и поддевки и порты. — Люди честные, за дело: налетай, подешевело! Завсегда простой народ, чего надо, то берет!

Народ, возбужденно урча, надвигался. Опередив передних, Шафиров, согнувшись в поясе, сгребал одежду с земли и швырял ее в открытую дверь лавки. Лотошник, подбежав, со всего маху вlepил ему ногой по заду. Тяжелый Шафиров не упал, а только покачнулся и, повернувшись резко, одной рукой схватил лотошника за горло, а другой сдернул с него шапку и сунул ее себе за пазуху. Теперь, вернув украденное у него, он чувствовал себя спокойнее и уверенней.

Лишившись и пирогов, и шапки, неудачливый вор, напротив, рассвирепел. Облепив Шафирова гибкими мускулистыми руками, он сделал ему подножку, толкнул, они упали на землю и покатались, поочередно подминая один другого, перед ногами толпы. Народ, сосредоточенно сопя, наблюдал за дракой. Симпатизировали увертливому, атакующему русскому, но и еврею отдавали должное за его волчью хватку и упрямство. Показалась уже первая кровь.

Двое мужчин, один молодой, не старше дерущихся, другой уже в годах, оба в немецком платье, стоя в стороне от толпы, наблюдали увлеченно. Молодой, на полголовы длинней своего рослого товарища, сосредоточенно обкусывал ноготь большого пальца. В правой руке он держал, уперев ее концом в носок башмака, тяжелую трость с узорным серебряным набалдашником, могущую сойти при нужде и за ослоп.

— Ставлю дюжину ермитажа, — с сильным французским акцентом сказал старший: — оборванец победит. У него просто нет другого выхода. Если он будет бит, ему припомнят и шапку.

Не слушая, молодой дернул головой на длинной, еще по-мальчишески тонкой, не набухшей сильным мужским мясом шейей — и тут же подскочил к нему и застыл за спиной, сбоку, плечистый детина в ладно подогнанном армяке.

— Кто это? — не отводя глаз от дерущихся, спросил молодой.

Плечистый детина, согнув ноги в коленях и одновременно привстав на цыпочки, подобострастно дыхнул молодому в ухо:

— Жид — сиделец купца Евреинова. А вор покамест еще неопознан. Прикажете брать, Ваше величество?

— Ишь, ты, жид, а за чужое добро дерется... — про-  
бормотал молодой. — Разнять! Привести ко мне!

Плечистый детина, а за ним двое в таких же армя-  
ках, растолкав толпу, кинулись через лужу к деру-  
щимся.

— Ты прав, Ваше величество, — сказал Франсуа Ле-  
форт, когда они, широко шагая, вышли из рядов. —  
Так и надо подбирать слуг: по двое. И чтоб один с  
самого начала ненавидел другого. Лучше будут слу-  
жить.

— Возьми их сначала к себе, погляди, — сказал  
Петр. — Они могут пригодиться, Франц, душа моя:  
один — веселый и наглый, другой — упрямый как  
черт. А? Возьмешь? — Петр глядел на него кругло,  
пристально, как будто бы допускал и отказ.

— Возьму, — без поспешности согласился Лефорт. —  
Отчего ж не поглядеть.

— А если что не так и окажутся неспособны, — Петр  
со свистом рассек воздух тростью, — чего же проще?  
Одному причитается кнут за воровство, а и другому  
дадим за компанию, чтобы первому не обидно было.

— Они получают битье не за воровство и не за компа-  
нию, сердечный друг, Ваше величество, — сказал Ле-  
форт и взглянул на Петра сбоку: слушает ли, серьезен  
ли, — а за то, что ты, возможный случай, в них ошиба-  
ешься. Государям позволительно ошибаться, но нака-  
зание за ошибку должны принимать слуги. Это —  
закон!

— Верно, душа моя, как верно! — сказал Петр и  
улыбнулся благодарно. — Государь ставит опыт, полез-  
ный для отечества эксперимент, непременно полезный.  
Не все сходится, ничего не подогнано поначалу, да и  
подручный материал — сырье, а то и гниль. Так не

экспериментатору же себя за это казнить! Или вовсе отказываться от опыта! Когда рубят дрова, дереву больно, зато топору — жарко.

Лефорт согласно покачивал головой, но молчал. Он хорошо знал царя и знал, что возражать ему можно до определенного предела. Но он никогда не читал и не слышал, чтобы какой-нибудь государь считал свой опыт вредным для отечества. Затем он подумал о том, как было бы хорошо и замечательно умереть ему, Лефорту, в своей кровати, в собственном доме в Немецкой слободе — хотя бы за год-другой до окончания всех царевых затей и экспериментов. Шансы у Лефорта получались неплохие — он был старше Петра на двадцать три года. Умереть спокойно, не на плахе — а там пусть они сами разбираются во всем этом варварском машкераде.

— Твой опыт, государь, сделает Россию великой, — глядя прямо перед собой, сказал Лефорт. — А если этого оборванца вместе с евреем выдерут кнутом — ну, что ж, пусть они покричат и поплачут.

Схваченные царской тайной охраной, еврей и оборванец покамест не плакали и не кричали; оборванец думал о побеге, еврей — о заступничестве Веселовского, двоюродного дяди. Охранники, однако, глядели зорко, и кулаки у них были тяжелые: не успел оборванец, переступая лужу, шагнуть в сторону, как получил полновесный, да еще с довеском, удар по шее. Выведя арестованных с базара, охранники связали им руки за спиной и посадили в ожидавшую телегу, запряженную сильной серой лошадью. Сена в телеге не было, сидеть там, с опутанными руками, было неловко и жестко.

— Гад ты, — цыкнув за борт телеги розовой слю-

ною, сказал оборванец. — Это из-за тебя все... Лоток сломал, пироги все рассыпал! А теперь...

— А теперь кнут: не воруй, — мрачно перебил Шафиров. — И ноздри вырвут.

— Не воруй! — возмущенно выкатил голубые, выпуклые глаза оборванец. — Да ты кто такой, чтоб мне указывать: воруй или не воруй! Это чтобы всякий жид мне указывал...

— А меня отпустят, — монотонно продолжал Шафиров, — а тебя в рудники сошлют. Пускай я буду жид — а ты холоп, голь пустая.

Оборванец, коротко засипев, подался к Шафирову, норовя пихнуть его плечом.

— Ну, вы там! — оборотился к ним кучер. — Ща как дам кнутом! — И, правда, перетянул их одним ударом, но не во всю силу, не с полного размаха. Шафирову, сидевшему ближе к облучку, меньше досталось.

— По сравнению с жидом русаку всегда хуже, — спокойно объяснил несправедливость оборванец. — Тебе, вон, в кафтане и вовсе не больно. Кафтан у купца украл, или как?

Шафиров не ответил. С беспокойством и страхом наблюдал он за тем, как кучер свернул от Кремля и его приказов, и телега загромычала по направлению к Немецкой слободе.

— Куда это везут-то? — озаботился и оборванец. В те времена не было еще в Немецкой слободе тюрьмы, названной именем женевского авантюриста Франсуа Лефорта.

— В Язуз тебя кинут, и все, — предрек Шафиров. — А меня отпустят.

Он, действительно, чувствовал некий внутренний подъем, как перед трудным, изнурительным испыта-



нием, на котором надо до капли, до изнанки себя показать. Везут к немцам? Ну, что ж, они набирают силу, сам царь им ход дает... Шафиров знал, что кончилось его сидение в еврейновской лавке.

Их привезли на чистый, тщательно выметенный и прибранный двор большого и тоже очень чистого, аккуратно выкрашенного голубою краской дома с застекленными окнами, за которыми виднелись клетчатые занавески, распущенные вверху и собранные по бокам книзу. Подталкивая в спину, чуть ни бегом провели их по двору и втокнули в высокий каменный сарай, и заперли за ними дверь. Они разошлись по разным углам и молча наблюдали друг за другом.

Не прошло и четверти часа, как брякнул замок, и в дверь протиснулся давешний детина. Не говоря ни слова, он распутал им руки и, подтолкнув их друг к другу, отошел в сторонку. И вслед за тем, пригнувшись, шагнул через порог Лефорт и, придержав дверь, пропустил царя.

— Ну, кто победил? — резко остановившись посреди сарая, спросил Петр.

— Я! — крикнул оборванец и грохнулся на колени.

Недолго подумав, опустился на колени и Шафиров.

— Он победил в скорости ответа, — сказал Шафиров. — На базаре я бы задушил его до полусмерти, потому что я тяжелей примерно на полтора пуда.

— Врешь, свиное ухо! — закричал оборванец. — Я б те и полумертвый глотку перекусил!

— Почему ж только до полусмерти? — с интересом спросил Лефорт.

— За смертоубийство полагается слишком тяжкая кара, — охотно объяснил Шафиров. — А я еще не успел выучить французский язык.

— Ты знаешь языки? — быстро спросил Петр.

— Жидовский он знает! — вставил оборванец.

— Знаю и жидовский, — согласился Шафиров.

— А еще? — нетерпеливо спросил Петр.

— Голландский, английский, немецкий. Еще польский.

— Похвально... Ну, а ты? — Петр концом трости ткнул оборванца в плечо. — Шапку украл?

— Я сам московской породы, — запричитал, заелозил на коленях оборванец, норовя поцеловать Петра в башмак, — пожалейте мои молодые годы! Я беру, а не ворую, пирогами торгую, а он мой лоток сломал.

— Дальше-то чего скажешь? Не придумал еще? — усмехнулся Петр. — Звать тебя как?

— Алексашкой поганым тятя обзывал, когда розгами сек, — притворно хлюпнул носом оборванец.

— Мало сек, — убежденно заметил Лефорт.

— Ой, много! — живо возразил Алексашка. — Лютый был человек тятенька мой Данила Меншиков, царство ему небесное.

— Вы меня боитесь? — вдруг спросил Петр, глядя поочередно то на одного, то на другого.

— Очень! — за двоих ответил Алексашка.

— А почему? — спросил Петр.

— Вы сами такие молодые, а такие страшные, — объяснил Алексашка. — И палка вон какая. Прямо жуть!

Теперь Петр глядел на Шафирова.

— Гневен господин, — тихо сказал Шафиров. — Но не гнева его я боюсь — боюсь чем не угодить ему, не приведи Бог...

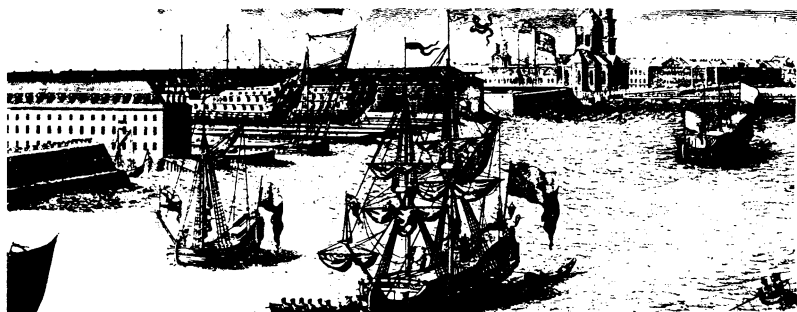
— Вот ваш господин, — сказал Петр и указал на Лефорта. — Ему будете служить. А если ты, — он протя-

нул трость к Шафирову, — соврал насчет языков —  
твой вырву!

Круто повернувшись на каблуках, Петр шагнул  
к двери и распахнул ее ударом ноги. Лефорт вышел  
за ним следом.

— Это кто будет? — сразу осмелев, спросил Алек-  
сашка у отлепившегося от дальней стены детины. —  
Офицер, что ль?

— Царь Петр, дурак, — сказал детина, проходя.  
Шафиров улыбнулся счастливо.



## 2. ПИРАТ С ОСТРОВА СВ. МЛАДЕНЦА. 1697

**Ц**ыклеру отвратительно было сидеть в Таган-Роге, на краю земли; сидя там и распоряжаясь строительством гавани, он полагал, и не без оснований, что следующим назначением будет совсем уж тупик, сибирская глухомань... Прослужив тридцать лет русскому престолу и дослужившись до звания стрелецкого полковника, Цыклер понимал, что карьера его, начавшаяся так удачно, кончена: царь Петр не забыл ему тайных связей с покойным Иваном Милославским и с мятежной царевной Софьей. А связи, если разобраться, были вполне объяснимые: Софья обещала полковнику Цыклеру многое, Петр — ничего. И вовсе тут ни при чем Петрова любовь к немцам и немецкому (сам Цыклер родился, как-никак, не в Калуге, а в Бремене) и приверженность Софьи русской старине. Цыклеру одинаково безразлична была и русская старина, и русская новизна. А вот то, что какой-то Лефортишка, пьяница и сводник, щеголял в мундире генерал-адмирала, сильно его раздражало. В конце концов он, Цыклер, мог пить не меньше Лефорта, не говоря уже о том, что вместо одной Анны

Монс готов был пригнать царю Петру целую дюжину крепких и чистых немецких девок. Но фортуна не благоприятствовала Цыклеру: он сидел в Таган-Роге, а Лефорт — в своем новом дворце в Немецкой слободе. И это было отвратительно и обидно до возмущения крови.

Боишься, — рассуждал Цыклер, одиноко сидя в Таган-Роге, в крепкой избе, — боишься меня царь Петр, потому и держит за тридевять земель от Москвы. Понимает царь: Цыклер — не старый дурак Авраамий, Цыклер писем писать не станет, не станет учить: "не предавайся, царе, утехам непотребным, не ходи в Немецкую слободу, слушай совета матери, да жены, да бояр"... Вот и дописался старец Аврамка, досоветовался: подняли его на дыбу в Преображенском приказе да все жилки по одной и выдрали, а царь Петр еще и поучал: "Гляди, старый, вот это твоя центральная жила, а вот эта вспомогательная. Гляди лучше, может, перед смертью и научишься анатомиям".

Старые друзья Цыклера, не удаленные покамест из Москвы — окольный Алексей Соковнин, боярин Матвей Пушкин и татейных дел подъячий Сильвестр Полтина — сообщали через верных людей, что царь собирается с поганым Лефортишкой, да с жидом Шафировым, да с похабным Алексашкой Меншиковым и еще черт-те знает с кем ехать к немцам и голландцам учиться и набирать новых людей, и после этого посольства первым делом всех заслуженных, как Цыклер, выгонят со двора. Еще сообщали, что любопытством Петра шведы весьма недовольны и что царевна Софья ему, Цыклеру, доверяет всячески и всецело.

Доверие Софьи означало признание заслуг и грядущую награду и, кроме того, было приятно чисто

по-человечески. А под отплатой за доверие подразумевалось, проскваживало между строк и между слов вот что: "Полковник Цыклер, убей царя, сорви посольство!" — адресат понимал это и принимал безоглядно: не ему первому предлагали, да и ему — не впервой. Первым не повезло: мясо с их голов, насаженных на кол, склевали московские вороны. Повезет последнему, удачливому.

Не вчера начались, пошли толки о том, судьба ли, случай или стечение обстоятельств направляют ход человеческих замыслов, — и не завтра кончатся. Почему тот убит и гниет в земле, а этот жив, в славе и кум королю? Кто знает... Цыклер наметил где, когда и как убить царя Петра и, тайно все это спланировав, располагал изрядными преимуществами перед избранной жертвой. И, однако же, был схвачен, пытан страшно, признался во всем и выдал всех.

Дознанием руководил Петр — азартно, безжалостно и кроваво. Себе в помощники он взял Степана Медведя по кличке "Вытащи" — кнутмейстера и шута, человека не совсем нормального, переходившего от ничем не вызванного, необузданного веселья к изощренным пыткам над жертвами. Было нечто общее в характерах царя Петра и затейного кнутмейстера Вытащи. С ним, с Вытащи, легкий на язык Петр почти никогда не вступал в разговор — зато внимательно наблюдал его со стороны, изучал, как изучал почти все и всегда в жизни, и молча, с переменным успехом играл в шахматы.

С палаческим ящичком подмышкой явился Вытащи к Петру в Преображенское. Молодой царь был не совсем трезв; он пуще обычного дергал щекой, дергал головой на сильной, мускулистой шее.

Толкая Вытащи в спину, Петр погнал его в подвал,

в пыточный застенок. Там, у дальней стены большой, глухой комнаты, висел на дыбе Цыклер. Тело его обмякло, руки, прикрученные к поперечине дыбы, вышли из плечевых суставов. Деловито обойдя пытаемого, Вытащи взглянул на Петра вопросительно.

— Кнут! — сказал, как стегнул, царь.

Неторопливо сняв Цыклера с дыбы, Вытащи уложил его на козла и сразмаху, но стараясь, однако же, не промахнуться, окатил его холодной водой из кожаного ведерка. Цыклер застонал с хрипом, руки его свисали безжизненно. Прищурившись и задумчиво пожевав губами, Вытащи привязал полковника к наклонно стоящему козлу за шею, а потом сильно прикрутил за ноги, пониже колен. Заложив руки за спину и враскачку переступая с носков на пятки, царь нетерпеливо наблюдал за работой кнутмейстера.

Расправив кнут — прикрепленный к толстой деревянной рукоятке кожаный ремень с сыромятным, твердым и острым как кость, согнутым наподобие желоба хвостом — Вытащи разбежался, подпрыгнул и, выдохнув протяжное "и-йех!", стегнул. Удар вышел ослабленный: плохо рассчитав разбег и прыжок, Вытащи чиркнул хвостом кнута по стене и глубоко ее прочертил, как гвоздем.

Петр подбежал бешено, оттолкнул палача с силой.

— Дай! — и вырвал кнут у него из рук.

С великим интересом, профессиональным, следил сбитый с ног Вытащи за тем, как государь, примерив кнутовище по руке, попятился к стене, а затем, взяв короткий и стремительный разбег, подпрыгнул на месте, как гигантский петух, и, описав рукою с кнутом полный круг над головой, ударил с оттяжкой. Цыклер закричал резко, до дна выдоха; на его белой спине, от плеча к плечу, возник и раздался толстый рубец, похо-

жий на кровавую веревку. Отойдя и вновь разбежавшись, Петр повторил удар.

— Два! — одобрительно сосчитал Вытащи. — После пятого удара кнут смени, государь: хвост размокнет, удар уже не тот — мягкий.

Отшвырнув кнут, Петр стремительно подошел к козлу и, дернув головой, плюнул в привязанного.

— Собака! — утерев рот рукавом кафтана, сказал царь. — Кто тебя послал? Шведы? Или Милославский Ивашка из ямы своей подучил? Я до него и под землей доберусь!

Посмотрев недолго на Цыклера, на его спину, Петр вдруг наклонился и с любопытством просунул палец в открытый рубец: далеко ли до кости. Оказалось, недалеко: рядом.

— Ну, давай! — повернувшись к Вытащи и вытирая палец о штаны, сказал Петр. — Бери кнут. Видал, небось, как надо?

Палач послушно, с прилежанием потянулся к кнуту. Он не только боялся царя; он любил его.

Петр выполнил свое обещание, и не без выдумки: гроб с телом боярина Ивана Милославского был выкопан из земли, открыт и на мусорной телеге, запряженной шестеркой свиней, доставлен в Преображенское. По бокам от процессии бежали, звеня бубнами, четыре придворных карлы, двое из них — арапы. Бежать пришлось долго, карлы устали, спотыкались и падали. За телегою ехал в открытом возке начальник Тайного розыска приказ шутейный князь-кесарь Федор Ромодановский, с лицом монстра, с выпученными глазами и торчащими усами, пьяный. Перед возком размашисто шагал шут-кнутмейстер Вытащи, погоняя усталых карлов кесаревым посохом с набалдашником



в виде козьей морды. Вся процессия была густо окружена солдатами-преображенцами и жадными до зрелищ людьми.

Сочинитель сценария царь Петр ожидал кортеж в Преображенском, близ эшафота, в настиле которого к этому случаю были вырезаны желоба и прорублены дырки. На эшафоте, на колесе, насаженном на заостренное кверху бревно, с перебитыми руками и ногами лежал Цыклер. Он лежал лицом вверх и слабым уже, мерцающим разумом старался понять, день на дворе или ночь, яркая ли луна светит в небе или негреющее солнце. Он был еще жив, и это было ему горько.

Появление мусорной телеги с гробом толпа вокруг эшафота встретила криками. Карлы, ругаясь, полезли на дерево, в устроенную специально для них в кроне птичью беседку. Свиньи вкатили телегу под эшафот; там их, наконец, выпрягли.

Помощник палача Преображенского тайного приказа, влезши на колесо, перевернул Цыклера со спины на грудь. От боли в перебитых конечностях Цыклер потерял сознание, а когда очнулся, увидел под собой, на помосте, изуродованных пытками окольного Алексея Соковнина и татейных дел подъячего Сильвестра Полтину, и как им рубили головы. Кровь, стекая по желобам, уходила в дырки.

Потом, по знаку Петра, Цыклера стащили с колеса и, удобно расположив его на деревянных чурбаках, отрубили ему вначале правую руку и левую ногу, а затем, спустя недолгое время, левую руку и правую ногу. Потом отрубили голову.

Крови было много, она ручейками текла по желобам и падала в гроб, установленный под эшафотом. Иссохшие останки Ивана Милославского плавали в гробу, как в свином корыте.

Покончив с одним делом, Петр, не мешкая, взялся за другое: 2 марта 1697 года, через два дня после казни Цыклера, тысяча саней Великого посольства двинулась из Москвы к северо-западу, к границе. С посольством ехали переводчики и повара, солдаты охраны и лекари, советчики, соглядатаи, священники, хлебники, шут-кнутмейстер Вытащи и четыре карла, отдохнувшие и полные энергии. Во главе посольства поставлен был Франсуа Лефорт; царь Петр, не желавший представлять и быть все время на виду, полускрылся под именем Петра Михайлова, десятника отряда, ехавшего обучаться морскому делу. Кому следовало об этом знать — тот знал достоверно, кому не следовало — тот догадывался.

Проследовав через Ригу, Митаву и Кенигсберг, посольство взяло курс на Амстердам. Главной целью Петра была Голландия — с ее верфями, мануфактурами, с ее могущественной Ост-Индской компанией. Дивясь основательности и налаженности западной жизни, Петр собирался учиться всему, и как можно больше — тому способствовала его деятельная, любознательная натура, да и в своих подданных он не очень-то верил, считая их людьми косными, ленивыми и вороватыми. Ненавидя Софью с ее стрельцами, Петр возненавидел всю российскую старь — и ринулся, как артиллерийская бомба, к Европе, к ее новизне. Он задумал свой "эксперимент" обновления и, разумеется, решил возглавить этот опыт. А для этого следовало войти во все тонкости дела самому, все попробовать на зуб и на язык, все ощупать своими руками, не веря до конца ни своим, ни чужим: начав и пустившись, не у кого будет спрашивать, да и времени не будет. Вот так он исследовал рубец Цыклера: а далеко ли до кости.

В Амстердаме он почувствовал себя почти так же уютно, как в Немецкой слободе. Он изучал и исследовал все, что наметил изучить и исследовать еще в России, и, сверх того, почти все, что было для него внове и казалось ему полезным: варение пива, изготовление презервативов из рыбьих пузырей, изготовление крючков для ужения рыбы и стеклодувное производство. Но прежде всего прочего он ставил верфь, сооружение кораблей — от киля до клотика, от бугшприта до кормы. Самым счастливым днем его в Амстердаме стал день морских маневров, специально для него устроенных. В маневрах принял участие фрегат "Петр и Павел", построенный на его глазах и при его участии; сам он тоже маневрировал около "Петра и Павла", командуя яхтой.

Этот осенний день начался для царя весьма благоприятно: с утра солнце грело и сверкало сквозь прорывы высоких туч, море было почти спокойно, пришла из Москвы почта с письмом от Анны Монс (Петру, читая, вдруг захотелось ее схватить, сжать, повалить) и посланием от преданного монстра Ромодановского. Все было в порядке и там, дома... Прочитав письма, Петр наскоро позавтракал густо перченым жареным мясом и, вызвав жжение в наджелудочной пищевой трубе, попробовал новое лекарство против жжения. Новое лекарство помогло, но не очень. Выпив чарку анисовой водки, царь почувствовал приятное облегчение и, подумав, решил от приглашения аптекаря в Россию воздержаться: лекарство ему не понравилось, надо будет поискать что-нибудь покрепче в Лондоне.

После завтрака явился Никола Витсен — высокий, прямой, в белоснежном парике. Сев в низкое деревянное кресло, Витсен широко развел колени и, поместив между ног трость черного дерева, оперся широким,

хоть ведро на него вешай, подбородком о серебряный набалдашник. Амстердамский бургомистр и один из директоров Ост-Индской компании Никола Витсен симпатизировал странному русскому царю и, быть может, вполне бескорыстно. Петр, впрочем, подвергал бургомистрово бескорыстие некоторому сомнению: слаб человек и вороват, и это обстоятельство никогда не следует упускать из виду.

— Предельно счастлив видеть ваше величество в добром здравии, — качнув бучками парика, галантно произнес Витсен.

”А изжога!” — подумал Петр и сказал со вздохом:

— Да-да, господин бургомистр... Я вижу, вы с добрыми вестями: что с мастерами для наших железоделательных заводов? Нашли? Есть?

— И есть, и нет, — уклончиво ответил Витсен, и Петр поморщился. — Они ведь не знают ни слова по-русски, и это большое препятствие, если не единственное... Но я, действительно, с доброй вестью.

Петр прошелся по комнате, вспоминая, о чем еще, кроме найма мастеров, просил он Николая Витсена: об инструменте для военных лекарей, о шутихах новейшей системы для устройства фейерверков.

— Евреи города Амстердама, — чуть погодя, продолжал Витсен, — испрашивают, Ваше величество, дозволения приезжать в Россию, в ней селиться, завести там купеческие конторы и отправлять торговлю.

— Это и есть, что ли, твоя добрая весть? — краем рта усмехнулся царь.

— Евреи много способствуют процветанию города Амстердама, — пояснил Витсен. — И на первый случай они подносят Вашему величеству сто тысяч гульденов.

Петр озадаченно молчал, переступая с пятки на

носки. Сто тысяч гульденов — деньги немалые, а жидов, впустив, можно потом и обратно отправить.

— Евреи в государстве — это как бы запасная казна, — привел аргумент Витсен. — Вреда от них никакого нет, а в случае нужды всегда можно у них одолжить денег, и под невысокий процент.

Арапский карла по имени Кабысдох выкатился из-под стола, где он проживал в деревянном ящике. Завывая и подскакивая, он выбрался из своих красных шелковых штанов и, зажав членик в черный кулачок, заметался по комнате. Как бы вовсе забыв о предложении Витсена, Петр с ухмылкой наблюдал за проделками карлы.

— Жиды идут! — вопил Кабысдох. — Помилуйте! Режут! А у меня вон какой маленький! — он разомкнул кулачок. — И тебя окоротят, государь! А-а! Спасите!

”Сколько они ему заплатили за ходатайство? — скользнув взглядом по вежливо улыбавшемуся Витсену, с внезапной злобой подумал Петр. — Чтоб к жидам в кабалу лезть — ну уж нет, лучше монастыри вытрясу, да и свои купчишки раскошелются...”

— Хотя и почитаются жиды искусными обманывать весь свет, — отпихнув карлу ногой, сказал царь, — но у моих русаков немного они выторгуют... Да и Кабысдох вон боится.

Прячась за Петром, за его ногами, карла показывал Витсену непристойные жесты.

— Господин Шафиров считает... — задумчиво глядя на карлу, заметил было Витсен.

— Считает, считает! — резко взмахнув руками, перебил Петр. — Он, разумеется, считает, что их надо впустить. Молодец Шафиров: поддерживает своих! Грош медный ему была бы цена, если б не поддерживал.

Посидев еще немного, Витсен откланялся. Он не-

сколько раз бывал в России, знал русский и, как ему иногда казалось, знал русских — и все же не мог понять царя Петра. Постукивая тростью по чистым черным камням мостовой, он раздумывал над тем, почему царь отказал евреям. Ведь каждый разумный правитель — а Витсен считал Петра человеком разумным, хотя и несколько необузданным — только приветствовал бы приток капиталов в свою страну, будь то капиталы еврейские или хоть китайские. Да и сто тысяч гульденов не валяются на улице, а ведь это только аванс... И вот одним махом, по подсказке какого-то отвратительного карлика, русский государь отказывается и от наличных денег, и от гарантированных грядущих доходов. Прискорбно, прискорбно! Это уже не говоря о том, что его, Витсеновские, комиссионные прямо-таки выпорхнули из кармана. Ну, хорошо, все это можно было бы понять, если б царь был жидомор — но ведь у него есть Шафиров, да и братья Веселовские продвигаются по дипломатическому ведомству и, весьма вероятно, займут со временем высокие посты в посольском приказе. Непостижимо!

По дороге к морю думал о предложении Витсена и Петр. Он не испытывал к евреям ни ненависти, ни презрения — ничего особенного. Горазды воровать? Так ведь кто ж не горазд! Вон Алексашка Меншиков, русак из русаков, тянет что ни попадя. В этом деле никакого различия нет между людьми, крещены они или обрезаны... И все ж евреи — чужие, даже чужей, чем татары или вот голландцы и немцы. Евреи живут как бы в скорлупе и не прилепляются душой ни к чему русскому. Правду сказать, не к чему особо и прилепляться — не много найдешь хорошего на Руси, — но поди сравни российского Шафирова с женевским Лефортом! Для Франца, любезного друга, наше распо-

хабнейшее дерьмо уже своим стало, а Шафиров, жидовская морда, посмеивается втихомолку над русаками стоеросовыми. Смеялся бы открыто — а то втихомолку, среди своих. А что остер на язык и самого черта перехитрит и без рогов оставит — за то и держим.

Увидев за земляной дамбой покачивающиеся мачты "Петра и Павла", царь забыл и о Витсене, и о Шафирове. Он не знал, не мог объяснить самому себе, почему морские военные забавы ему несравнимо милей забав полевых и лесных, почему сам вид моря умиротворяет его душу и настраивает на лад почти пиитический. Он этого не знал — хотя честно пытался разобраться и в этом. В наши дни его, наверно, просто назвали бы "человеком воды" — и сочили бы, что этим все объяснено.

Шафиров наблюдал за ходом маневров с берега: он подвержен был приступам морской болезни, качки не выносил и вид даже спокойного моря вызывал у него тошноту и головокружение и был неприятен. Однако, отдавая должное любви государя к военноморской потехе, он считал для себя необходимым прибыть на берег и глядеть на волны и корабли. Не он один так счел, и не он один прибыл: почти весь состав посольства расположился вдоль берега, на дамбе, и кто с интересом, а кто со скукой глазел на морскую воду, на "Петра и Павла", на яхту и другие корабли и лодки: царь любил зрителей, и неявка к месту потехи могла возыметь дурные последствия.

Сидя на дамбе, на складном стуле, и с вежливой улыбкой следя движение царской яхты и кораблей, Шафиров размышлял об утреннем визите Витсена к Петру. Царский отказ успокоил Шафирова: в глубине души он и не желал иного ответа. Допусти Петр голландских евреев в Россию — он, Шафиров, волей-

неволей стал бы ответственным за их слова и дела и первым держал бы ответ перед царем: как эксперт и единоведец, хотя и бывший. А в том, что ответ держать пришлось бы, и в скором времени — в этом Шафиров не сомневался ничуть: он знал своих евреев, знал их жесткость в делах, их закрытость и замкнутость, и что русские посмотрели бы на все это косо... Кроме того, Шафиров досадовал на то, что амстердамские евреи выбрали своим ходатаем гою Витсена, а не его, бывшего еврея Шафирова, и тем самым лишили его возможности заработать хороший куш... Так что пускай лучше они сидят себе в своем Амстердаме, — не без легкой обиды думал Шафиров, глядя на море.

А на море крутился, как лось среди волков, фрегат "Петр и Павел" среди лодок и яхт. Видно было, как матросы карабкались по вантам фрегата, ставили и убирали паруса. Потом царская яхта подошла вплотную к "Петру и Павлу", и Петр во главе своих людей бросился на abordаж. Яхту сильно качало, Шафиров почувствовал приступ тошноты и незаметно отвернулся. За его спиной слонялся по дамбе шут Вытащи, громоздкий, как шкаф. Арапский карла Кабысдох, смешно повторяющий неуклюжие движения Вытащи, показал Шафирову острый кошачий язык.

Потешная баталия шла к концу, на клотике "Петра и Павла" взвился флаг Петра. Шафиров облегченно вдохнул и поднялся со своего стула. Можно было идти поздравлять царя.

Петр бушевал. Он сломал тяжелый резной стул свейской работы, вышвырнул в окно некстати вылезшего из-под стола, из походной коробки, карлу Кабысдоха, а Меншикову, кинувшемуся было утешать, кулаком



разбил нос. Поздравления с викторией были отменены, явившиеся поздравители теснились, переговариваясь шепотом и знаками, в посольской гостиной, перед кабинетом царя.

Царский гнев был оправдан: шестеро русских волонтеров, дворянских недорослей, плохо показали себя на маневрах и особенно в абордажном приступе, а на укору царя дерзко отвечали:

— Мы, дескать, больше не желаем топорами махать на верфи да по веревкам лазать над морскою бездной, и тебе, царь, это негоже — ты, все ж, не лапотник.

Услышав такие речи, Петр страшно задергал головой и велел критиканов тут же, на берегу, заковать в цепи:

— Заковать! Доставить к Лефорту!

Теперь закованные сидели в подвале посольского дворца, ушибленный карла валялся в углу двора, Алексашка прикладывал лед в тряпице к носу, а Петр бешено мерял кабинет от стены к стене в ожидании Вытащи. Шута-кнутмейстера искали по всему городу, и бегом: царь ждать не любил.

Обнаружили Вытащи в кабаке; он там добросовестно праздновал цареву победу. По дороге к посольскому дворцу, понукаемый и в спину, и в бока для ускорения хода, он радостно рассказывал сыщикам о скверной заграничной жизни и как ему хочется домой, в Москву: мясо здесь без жил — зубами даже не почувешь что мясо, и вода какая-то пресная, и ржаного хлеба здесь не пекут... Вытащи редко кто слушал, разве что по крайней необходимости либо по принуждению — вот он и пользовался случаем.

Первым делом, увидя Петра, Вытащи испугался: царь был буен. Обломки свейского стула валялись на полу, и кнутмейстер с неприятным чувством прикинул, что тяжелой ножкой мореного дуба можно прошибить

голову. Топчась в дверях, Вытащи опасался шагнуть в комнату, наперерез Петру.

— Возьми плотников, — коротко и со свистом дыша, сказал царь, — и к завтраму чтоб сбили эшафот тут, на дворе... Ты что это?

— Робею... — топчась, признался Вытащи.

— А-а... — вдруг светло, озорно улыбнулся царь. — Завтра перед обедом выведешь из погреба недоумков, отрубишь головы, чтоб другим неповадно было. Иди, занимайся! И скажи, чтоб вошли, кто там ждет: можно.

Поздравители втекли шумно, затопили кабинет. Заговорили все сразу, не желая уступить первенство другому. Петр улыбался, сиял.

У дальней стены, за спинами поздравителей, стоял ловко сбитый, мускулистый молодой человек в матросской одежде. В его то ли сильно загорелое, то ли от природы смуглое лицо вправлены были, как черные камешки, крупные выпуклые глаза в мягких метелочках юношеских ресниц. Кисти рук его были маленькие, сильные и тоже смуглые, темные. Во всем его облике — во взгляде, в чутко настороженной позе, в золотом, с синим камнем браслете вокруг тонкого, почти хрупкого запястья — явственно проступало что-то экзотическое, неместное; держался он хотя и скромно, но без всякого смущения, да и скромность его казалась более нарочитой, чем естественной. Трудно было определить, кто он таков: перс или армянин.

Петр заметил его поверх голов, поманил. Молодой человек подошел гибкой, звериной какой-то походкой и поклонился, не сгибая спины:

— Ты велел мне явиться, русский государь, — сказал он по-голландски.

— Ты матрос с "Петра и Павла"? — с интересом уставившись на подошедшего, спросил Петр. — Это ты

спихнул в море моего помощника во время абардажного приступа?

В знак согласия молодой человек легко наклонил голову.

— На талер, — сказал Петр, выбирая в кошельке нужную монету. — Ты хороший моряк, хорошо дрался... Плаваешь давно?

— С голландцами — два года. Раньше плавал юнгой на португальском пиратском бриге, в Южных морях.

Поздравители, притихнув, кто с любопытством, а кто с ужасом разглядывали молодого пирата. Петр задышал шумно, обрадованно.

— Ты, значит, португалец? — продолжал он расспрашивать. — Пойдешь ко мне на службу?

— Я сефард, — сказал молодой человек, и царь недоуменно поднял брови. — Португальский еврей Антуан Дивьер. Пойду к тебе на службу.

Удовлетворенно хмыкнув, Петр нашел глазами Шафирова, подозвал, спросил по-русски:

— Он жид? Ну-ка, поговори с ним по-вашему.

— Шма, Исраэль... — сухо выговорил Шафиров: он, все же, не любил, когда ему публично напоминали о его еврейском происхождении.

— ...адонай элогейну мелех аолам, — заученно продолжил Дивьер.

Зрители вслушивались напряженно.

— Ну? — нетерпеливо спросил Петр. — Пират — жид? — он со вкусом выговорил слово "пират".

— Да, несомненно, — утвердил Шафиров. И добавил не без торжественности: — Я его проверил.

— И долго ты пиратствовал? — снова перешел на голландский Петр.

— Шесть лет, государь, — сказал Дивьер, как об обычном. — Сызмальства. Это дело я знаю хорошо. — Труд-

но было уразуметь из его ответа, какое именно дело: морское или же пиратское.

Петр вдруг, порывисто взял Дивьера обеими руками за плечи, почувствовал под пальцами, под матросской курткой, слоистое каменное мясо.

— Рука у тебя твердая? — спросил Петр, близко глядя в глаза Дивьеру.

— Твердая, государь.

— Я, может быть, дам тебе хорошую службу, Антон Дивьер, — сказал царь. — Очень хорошую службу.

Сквозь толпу посетителей к Петру протиснулся Меншиков. Нос его сильно распух, но уже не кровоточил. Царь взглянул на Алекшашку ласково.

— Витсен просится Николай, — доложил Меншиков, — и с ним два подбургомистра. Велишь пустить, мин херц? Они на дворе стоят.

— Пусти, — сказал Петр и подумал о тех ста тысячах гульденов: а не взять ли, все-таки?

Тяжело стуча черной тростью по белому полу гостиной, Витсен прошел в кабинет. Перед ним расступились. Подбургомистры в черных кафтанах стояли за его плечами, как крылья; это было торжественно.

— Ваше величество, — кашлянув в кулак, сказал Витсен, — приказали казнить завтра утром шестерых молодых людей. Всемиловитейше прошу: не делайте этого, Ваше величество!

— Тебе что за дело? — покраснев, крикнул Петр. — Это мои люди!

— Не делайте этого в Амстердаме, — повторил Витсен. — Они, может, и заслуживают смерти — но у нас тут не казнят без судебного разбирательства. Такая поспешная казнь может вызвать толки, неприятные для вас, Ваше величество, и для всего русского посольства.

Легко шагая, в комнату вошел Лефорт. Встретившись взглядом с царем, он улыбнулся понимающе, душевно улыбнулся.

— Вот посол, — указывая на Лефорта, сказал Петр. — Ты с ним говорил, Витсен?

— Говорил он, — подойдя, доверительно сказал Лефорт. — Скандал получится, Ваше величество. Они тут этого не понимают: распустился народ, власти не знает.

— Кнута они не знают... — проворчал Петр и оборотился к Витсену: — А ты так бы и говорил, что у вас тут свои порядки, а то завел: заслуживают, не заслуживают... Заслуживают, Николай, и казнить их следует для пользы дела огромного!

— Так отправьте их в Россию, Ваше величество! — попросил Витсен. — Там и казните.

— Пусть здесь останутся пока, — решил Петр. — Жалко денег, на них изведенных. Антон! — он поискал в толпе Дивьера. — Определи их завтра же к мастеру Полю, корабельщику, и следи за ними в оба. Следи!

И потом, позже, когда ушел Витсен с Лефортом и разошлись поздравители, Петр, задержав Дивьера, повторил:

— Твое дело пока — следить, Антон. Из этого тряпья, — царь с силой ударил ногой в пол — там, в подполе, сидели закованные критиканы, — пиратов не сделаешь. Но я хочу трудным ученьем из них дурь вышибить и вольнодумство: ученье это им же на пользу пойдет... А ты, — он с жестким любопытством, искоса взглянул на Дивьера, — казнил бы их?

— Казнил бы, — не задумываясь, ответил Дивьер. Он чувствовал, что именно такого ответа ждет от него русский царь, и не видел причины давать другой. Он

не знал, за что эти русские сидят в подвале, да это его и не занимало ничуть. Что они ему — родственники, знакомые? Посадили — вот они и сидят. Можно их казнить, а еще лучше поставить на какую-нибудь черную работу — как на пиратском острове Св. Младенца, где пленники под крепкой стражей валили тропический лес, строили бастионы и дома.

— Солдат должен делать то, что велит офицер, — глядя в угол, вдаль, расстановочно сказал Петр. — Народ — то, что велит царь. Тогда будет прок и всеобщая польза для отечества... Но одна паршивая овца все стадо портит! — Петр снова, яростно ударил ногой в пол. — Такую овцу надо публично на куски разорвать! Запомни это, Антон Дивьер!

— Запомню, государь, — наклонил точеную голову Антон Дивьер.



### 3. ЕВРЕЙСКИЙ АНЕКДОТ. 1698

**Н**ад зимним Лондоном сияло удивительно чистое, серебристое низкое небо. Коридоры каменных улиц были ясны и гулки, и квадратная площадка перед Королевским монетным двором звенела под колесами редких ранних экипажей, как будто была отлита из металла.

Поеживаясь от холода, смотритель монетного двора скинул ночную рубаху, подул в озябшие пальцы и, сев на край кровати, принялся натягивать чулки на отекавшие за ночь ноги. Живот мешал ему нагибаться, он кряхтел и трудно дышал. Он не находил смысла в ношении чулок — они почти не грели, быстро рвались, стоили дорого и натягивать их каждое утро было обременительно и противно, — но отказаться от них он не мог себе позволить: его бы сочли окончательно сумасшедшим и, возможно, выгнали бы со службы. Лейбниц, во всяком случае, был бы этому рад. Проклятый Лейбниц!

Справившись, наконец, с чулками, он тяжело поднялся с кровати и, влезши в просторные, до колен,

штаны и мешковатый кафтан, медленно выпрямился во весь свой небольшой рост.

— Лейбниц — негодяй, мерзавец и вор! — отчетливо и громко произнес смотритель.

Вот уже много лет подряд он произносил эту фразу каждое утро — так же, как натягивал чулки.

В свои 56 лет смотритель выглядел куда старше: он был желчен, болен и одинок. Затянувшийся на всю жизнь спор с Лейбницем стоил ему здоровья и бесил его уже вполне привычно; хвати Лейбница смертельный удар, смотритель монетного двора почувствовал бы себя обокраденным среди бела дня. Впрочем, об ударе нечего было и помышлять: проклятый Лейбниц был вполне здоров и благополучен.

Одевшись, смотритель хмуро усмехнулся и хлопнул в ладоши. Никто не появился, как он того и ожидал. Тогда, подняв с пола медный полый шар, тонкостенный, служивший ему когда-то в постановке опыта по свободному падению тел, он прошел из спальни в гостиную, открыл дверь и осторожно пустил шар по узкой каменной лестнице, ведущей в первый этаж. Дом наполнился переливчатым медным грохотом, в который смотритель вслушался удовлетворенно.

Малое время спустя в гостиную поднялся заспанный слуга с тарелкой овсяной каши и кувшином молока на подносе. В свободной руке слуга держал медный шар, который он первым делом заученно опустил, под пристальным взглядом хозяина, на то самое место на полу, откуда смотритель его поднял.

На подносе, под тарелкой, смотритель обнаружил письмо на дорогой бумаге. Писал Карл Монтегю — тот предприимчивый родственник покойной жены, стараниями которого и была получена эта королевская служба, этот дом и этот придурковатый слуга, при-



несший шар, кашу и письмо от Карла Монтегю. Карл Монтегю-служба-дом-слуга-шар-каша-письмо от Карла Монтегю-Карл Монтегю-служба-дом... Глотая кашу, зритель сердито тряхнул слегка закружившейся головой: чушь какая-то, какая-то зыбкая гениальная чушь — круговая связь между шаром, придурковатым слугой и предприимчивым родственником жены. Связь между одушевленными и неодушевленными предметами, между причиной и следствием.

”Дорогой сэръ Исаак Ньютон, — писал Монтегю, — я прошу Вас не отказать мне в любезности: принять путешествующего инкогнито русского царя Петра, проявляющего интерес к достижениям нашей науки. Пусть Вас не покоробит и не смутит определенная странность в поведении монарха — он, как мне рассказывали, хочет показаться проще, чем он есть. Это, несомненно, незамысловатая азиатская хитрость, и Вы должны быть к ней подготовлены”.

Держа ложку на отлете, Ньютон задумался. Чего ради Монтегю, человек предприимчивый, посылает к нему азиатского русского царя, к тому же странного? В России, как известно, нет ни ученых, ни науки. Может, в дело замешана политика, и свояк решил погреть на этом руки? А, может, этот странный царь вовсе и не царь, а самозванец и авантюрист, он попросит показать ему монеточеканнные машины, а потом ограбит Двор, и его, Исаака Ньютона, обвинят в соучастии в преступлении? Может быть, может быть... Нельзя исключить и того, что все это происки проклятого Лейбница, что это он подослал азиата, а Монтегю служит посредником. Этот Монтегю, между прочим, всегда увиливал от прямого ответа: кому принадлежит приоритет открытия и исследования бесконечно малых величин — ему или Лейбницу.

Подвергая, все же, некоторому сомнению участие Лейбница в заговоре, Ньютон сердито допил молоко и поднялся из-за стола. Предстоящий визит будоражил его; не прибегая больше к помощи пустотелого шара, он кликнул слугу. И пока слуга, двигаясь нерасторопно (проклятый слуга! проклятый Монетный двор! проклятый Карл Монтегю!), прибирал в комнате, Ньютон не отходил от окна, выглядывая на улицу сквозь холодные стекла в ромбических свинцовых переплетах. Он решительно не знал, о чем он будет говорить с русским царем, но ему живо хотелось на него поглядеть. Поймав себя на этом желании, Ньютон прижался лбом к стеклу и чуть улыбнулся: значит, ничто человеческое ему не чуждо, значит, клеветают его недоброжелатели, уверяя всех и каждого на свете, что он уже давным-давно выжил из ума и что все его открытия — плод воспаленного разума и яйца выеденного не стоят. За исключением, разумеется, тех, что приписывает себе этот бандит Лейбниц. Ну, и Гаук.

Визитеры явились в подозрительной коляске, запряженной разномастной парой. "Ах, да, инкогнито, — вспомнил Ньютон. — Но кто же из них царь?"

К дому шагали трое мужчин, впереди других — верзила с тяжелой тростью, в расстегнутом кафтане, без парика. Оглядывая дом, верзила говорил что-то тщательно одетому толстячку. Третий, с красивым крупным лицом, на котором без труда можно было прочитать крайнюю степень изнурения, шел чуть в стороне и чему-то ухмылялся. Перед самой дверью верзила, обернувшись, что-то сказал, засмеялся и сильно ткнул красавца кулаком под ребра — как видно, в шутку, а не ради развязывания драки. Миг

спустя слегка озадаченный Ньютон услышал уверенный стук в дверь.

— Пускай, пускай! — махнул он рукой слуге, появившемуся на пороге. — Ну!

Толстячок, назвавшийся мистером Шафировым, заговорил по-английски:

— Мой господин, — он отвесил поклон в сторону верзилы, бесцеремонно оглядывавшего комнату: стол со стульями, буфет, угловой шкафчик, — много наслышан о ваших изобретениях в области движения предметов, в частности, артиллерийских бомб. Мы хотели бы послушать ваши объяснения — в общем виде, разумеется. — Шафиров тщательно подбирал слова, намереваясь сегодня же вечером описать в особой книге встречу царя со знаменитым открывателем природных законов, которому, как говорят, яблоко однажды свалилось на голову, что и послужило началом его научных рассуждений.

— А кто этот господин? — спросил Ньютон, указывая на красавца. — Эксперт? — Он не решил еще окончательно, кто здесь царь.

— Да нет... — замешкался Шафиров, не находя, как представить англичанину Меншикова... — Это так... Сопровождающее лицо.

— Вот как... — сказал Ньютон и оглядел Алексашку изучающе. Он склонен был предположить, что Алексашка — не сопровождающее, а главное действующее лицо этой сцены, а верзила — просто охранник. Шафиров, разумеется, в счет не шел: хозяин безошибочно признал в нем еврея, и поэтому он никак не мог быть русским царем, хотя бы и инкогнито.

— Вот как... — задумчиво повторил Ньютон, глядя на Меншикова, уставившегося туманными глазами на медный пустотельный шар — единственный предмет в

этой комнате, назначение которого было трудноопределимо. Почувствовав на себе пристальный взгляд, Меншиков отвел глаза от шара и зачарованно улыбнулся, — и Ньютон поколебался в своем предположении: улыбка у Алексашки была простецкая, не монаршая.

— Шарик хороший, — сказал Алексашка. Шафиров этого переводить не стал.

Тем временем Петр, закончив осмотр комнаты, подошел к столу и, громко двинув стул по полу, сел. Немного пригнув голову к плечу и отведя руку с зажатой в ней тростью, он кругло, не мигая, глядел на хозяина. Он всегда так глядел после бессонной ночи или перед накапывающим гневом, но только на пятом десятке это сделалось у него постоянной привычкой. "Вот царь, — решил Ньютон. — Действительно, странный".

— Ну, пусть приступает, — разрешил царь, кивнув переводчику. — Только не очень путано — голова раскальвается.

— А я говорил, — капризно, со слезой в голосе ввел фразу Меншиков, — а я говорил, мин херц: в баню надобно ехать отмокать после вчерашнего, а не к этому старичку.

— Погуляли — и хватит, — ворчливо заметил Петр. — А ты, я гляжу, уморился, Александр.

— Как же не уморился! — согласно пожал плечами Меншиков. — В Амстердаме девки куда нежней и обстоятельней. А тут — разве можно так?! Волки, а не девки... Поедем в баню, Ваше Величество.

Из этого разговора Ньютон понял, и то с трудом, всего два слова: "мин херц", и удивился до испуга и неприятной дрожи в спине: если верзила действительно царь, то как и кому он разрешает себя так

называть, а если он не царь — то кто он и с какой целью сюда пожаловал? Кроме того, Ньютон теперь был уверен, что все трое не вполне трезвы в этот ранний утренний час.

— Ну! — Петр пристукнул тростью по полу. — Что ж он молчит? Шафиров, переводи!

— Как вам нравится Лондон? — спросил Ньютон, кляня в душе Карла Монтегю и желая лишь одного — чтоб подозрительные гости поскорее ушли. — Вы, как я понимаю, приехали издалека.

— Весьма нравится, — сказал Петр. В горле у него пересохло, он хотел пить. — Шафиров, спроси у него, знает он артиллерийское дело?

— Баллистика — это не совсем моя область, — сказал Ньютон, морщась болезненно. — Как вам известно, мне принадлежит приоритет в открытии ряда законов механики и оптики. Что же касается некоего Лейбница, если вы слышали это имя...

— Пушечное дело он может поставить у нас или нет? — перебил Петр, нетерпеливо постукивая длинной тонкой ногой, обутой в грубый башмак. — Если да — скажи ему, что я хочу его нанять на русскую службу... Не кисни так, Александр, душа моя! Отсюда поедем в баню, потерпи.

— Да здесь разве же это баня... — горько пожаловался Меншиков. — Что они могут в этом понимать!.. Шафиров, будь другом, спроси у него: баня хорошая у них тут есть или нет?

Выслушав вопрос, Ньютон сделался сер. Сомнений больше не было: подлец Лейбниц подослал этих проходимцев, этих хулиганов, чтобы еще раз унижить его, Ньютона, выставить его на посмешище. Весь мир ополчился против него, он один в целом свете — но он

выстоит, его открытия обессмертят его имя, и только мерзавцы и дураки этого еще не понимают.

— Вы дураки! — высоко подняв голову и гневно оглядывая визитеров, закричал Ньютон. — Вы низкие дураки вместе с вашим Лейбницем! Баня! Да как вы смеете! Мне! Вон отсюда!

— Он не хочет на службу, — перевел Шафиров. — Пойдемте, Ваше величество... — и, проходя мимо Ньютона, спросил вполголоса, почти с мольбой: — Сэр Ньютон, простите, Бога ради — а то, что вы в саду сидели и яблоко вам на голову упало, — это правда или нет? — ему с самого начала хотелось это спросить, но никак не подворачивался подходящий момент.

— Вон! — взревел Ньютон. — Яблоко! Невежда! Клевета Лейбница!

Перевод не требовался. Проходя мимо пустотелого шара, Алексашка нагнулся и завистливо щелкнул ногтем по блестящей звонкой поверхности.

— Шарик хороший... — с мечтательной улыбкой сказал Алексашка. — Спроси: может, продаст? — и, достав кошелек, позвенел монетками.

Из серого Ньютон сделался бурым. В углах его рта появились пузырьки пены.

— Шарик!.. — огрызнулся Шафиров. — Сам ты не видишь, что ли: припадок у человека. — Он искренне сожалел о том, что исторический разговор повернул совсем не в ту сторону.

Размашисто спустившись по узкой лестнице во двор, Петр с удовольствием вдохнул чистый морозный воздух.

— Сердитый у тебя хозяин, — мешая английские слова с голландскими, сказал Петр безразличному слуге, торчавшему у дверей.

— Да он тронутый, — без всякого выражения сообщил слуга и покрутил большим пальцем у виска. — Давно уже — с пожара, когда какие-то его книги сгорели.

— Старичок гнойный, — беззаботно выразил свое отношение и Алексашка.

Шафиров засопел, взглянул на Меншикова презрительно.

Нелегко, ох, нелегко понять русскую душу, — горестно подумал Шафиров. — Вот, сэръ Исаак Ньютон, великий человек — а не понял.

Это забавное недоразумение с лондонским зрителем Монетного двора никого, однако, не огорчило, кроме Шафирова и позарившегося на пустотельный медный шар Меншикова; но и тот вскоре об этом позабыл. Посольские чины всецело были довольны своей новой, такой интересной и необыкновенной жизнью за границей. Искренне жаловался только Вытащи — на отсутствие жил в мясе, да его малорослый коллега по шутейной части Кабысдох: ему была назначена казной одна шестая часть содержания от средней нормы, и это казалось карле обидно недостаточным.

Меж тем, дела Посольства складывались не так уж гладко: не за тем ехал Петр на Запад, чтоб учиться топором махать, чинить часы и плясать по-голландски. Царь поставил своей целью окончательно закрепиться на берегах Черного моря — и, не в силах справиться с турками в одиночку, отправился в Европу искать себе союзников для новой антитурецкой коалиции. Европейцы, однако, не спешили впрягаться с Петром в одну телегу: русский царь представлялся человеком несерьезным и доверия собеседникам не внушал. Кроме того, Турция особых хлопот Европе не доставляла, а уж волноваться из-за судьбы бывшего

храма Св. Софии, перестроенного турками в мусульманскую мечеть, право же, и вовсе не стоило. Речь, следовательно, шла прежде всего о русских интересах, и охотников влезать ради этого в турецкую авантюру не нашлось. Европейцев куда больше занимали перспективы дележа Испанского наследства.

Об ударе по Швеции и выходе к Балтийскому морю Петр тогда еще и не думал: единомышленников для этого предприятия он бы не сыскал ни в галантной Голландии, ни в дружественной Англии, а церемониальный австрийский император Леопольд, поймав намек (говорить впрямую о войне со Швецией было бы с ним просто невероятно) первым делом предупредил бы Карла XII об опасных затеях неуравновешенного азиата.

Однако, выход к морю был целью жизни Петра, российские пруды и речки становились тесны для его размаха. А морей, к которым можно было выйти, насчитывалось только два: Черное и Балтийское, турецкое и шведское. Турецкое оказывалось огорчительно защищенным от русской экспансии; зато оставалось шведское. Все дело сводилось лишь к отысканию союзников.

Союзником Петра согласился стать, на свою беду, ветреный польский король Август II, первый шляхтич, дебошан. В застольных, в четыре глаза разговорах, за обильными ужинами, переходящими в хмельные завтраки, с перерывами для здоровых мужских утех, молодые люди основали Северный союз. Война со Швецией была предрешена.

Назавтра после прощального банкета, после обмена подарками и шпагами ветреный Август начисто забыл количество пунктов нигде не записанного договора, их порядок и, отчасти, содержание. Зато в легкой па-



мяти остался образ Петра — замечательного парня, весельчака, выдумщика, к тому же такого богатого. Петр запомнил — каждую ненаписанную букву, каждую непоставленную точку.

Ромодановский писал: стрельцы вновь взбунтовались, Шеин разбил бунтовщиков наголову под Новым Иерусалимом, зачинщики казнены. Рядовые мятежники отправлены в ссылку и в дальние гарнизоны. Дознанием установлена причастность к мятежу царевны Софьи.

”Семья Ивана Михайловича Милославского растет, в чем прошу быть вас крепкими, — писал Петр в ответном послании. — А кроме сего ничем сей огонь угасить не мочно... Хотя зело нам жаль нынешнего полезного дела, однако сей ради причины будем к вам так, как вы не чаете”.

Разумеется, приятней было пьянствовать с податливым Августом и втягивать его в будущую войну со шведами. Однако, нечего было и думать о серьезной войне, не разрешив раз и навсегда проблему непокорных, ненадежных стрельцов. Сочиняя ответ Ромодановскому, Петр знал, что он сделает, вернувшись в Москву: соберет оставшихся в живых стрельцов, ссыльных и вольных, молодых и старых, повесит, отрубит головы, колесует. Ликвидирует Стрелецкий приказ. Покончит со стрелчеством на вечные времена: перед большой войной необходима чистка, кровавая чистка народа. Будущие правители России скажут ему, Петру, спасибо за эту кровавую науку.

С чисткой следовало спешить. Чистка представлялась Петру работой полезной и, несомненно, приятной — но отнюдь не легкой. К чистке следовало подготовиться, чтобы она стала действием всеохватным,

зрелищем назидательным. Чтоб о ней не только говорили — вспоминали с ужасом. Ужасались бы и вспоминать.

Подъезжая к России, Петр думал над тем, как декорировать Чистку: через какие ворота везти стрельцов, на каких телегах, где установить вешалки, где колеса, где колы, кому поручить общее руководство, кому — местное, площадное. Надо бы и бояр недовольных, шептунов заугольных привлечь к делу: пусть и они попотеют для отечества, порубят стрелецкие головышки. А кто откажется — рядом с бунтовщиками ляжет на плаху... Чистка — слово-то какое хорошее, свежее, грозное! Быть великой Чистке, быть царской грозе очистительной.

Перед самой границей, в польском местечке Колерово, Петр остановился на последний отдых. Он на много дней опередил посольство, гнал дорожные возки день и ночь. В возках помещались ближайшие приятели во главе с Алексашкой Меншиковым, провиант, походная аптечка, двуглавый младенец в банке, полученный в подарок от английского короля, а также карла Кабысдох и Антуан Дивьер. О пирате Петр вспомнил, уже почти садясь в возок, приказал его доставить и теперь был этому рад... Все было бы хорошо и прекрасно, если бы не стрельцы. От неотвязных дум о последышах Ивашки Милославского, врага, у царя портилось настроение, дергалась щека и голова, он мрачнел и никого не желал к себе подпускать.

Местечко, заброшенное на окраину владений ветреного Августа, славилось не водкой и не девками, а костелом Богородицы Скорбящей. Богородица эта, по словам знатоков, плакала вот уже много лет подряд, святые ее слезы стекали в специально подставленную площадку и всякий человек мог смочить в них

пальцы. Любитель диковин, Петр решил осмотреть храм, и именно поэтому местом отдыха и ночлега выбрал местечко Колерово.

С августовской сверкающей жары в храме показалось зябко, как в склепе, и полутемно. Десятки паломников из соседних деревенок и городков, распевая молитвы, запрудили придел, свечи в их руках теплились и мигали, и пятна легкого золотистого света бродили по черным стенам храма. Поморгав и попривыкнув к полумраку, Петр шагнул с порога в гуцу богомольцев. Алексашка поспевал за ним, протискивался, наступая на чьи-то ноги и полы. Ему было слегка муторно: а вдруг Богородица, и вправду, плачет? Он вдруг, неизвестно для чего и с какой стати, вспомнил строгое лицо покойного тяти Данилы Меншикова и приготовился было креститься — уже и пальцы сложил, класть поклоны и, быть может, даже пасть на колени. Но, глядя на привольно, как в рыночной толчее, шагавшего царя, почувствовал облегчение, передумал и пальцы распустил. За всех истово крестился и молился Шафиров. Губ он не разжимал, потому что в этом случае соседи могли бы расслышать непонятное: "Шма, Исраэль, Адонай элогейну, мелех аолам".

Подойдя вплотную к деревянной, искусно выкрашенной статуе, Петр сощурил глаза и всмотрелся. Фигура Богородицы, выполненная в человеческий рост, была поднята на пьедестал, крест-на-крест покрытый полосами парчи и украшенный по углам золотой резьбой в форме виноградных листьев, ягод и крылатых младенцев. Строгие, ясные глаза Богородицы глядели вдаль, поверх молящихся.

Повернувшись, Петр подмигнул притихшему Алексашке.

— Плачет, мин херц... — дрогнувшим голосом вымолвил Алексашка.

Из правого глаза Богородицы выкатилась слеза и скользнула по навощенному стоку вниз, в плошку. По первым рядам богомольцев прошел гул, прокатился волной через весь храм к выходу. Алексашке сделалось не по себе.

— Погоди, погоди... — недоверчиво проворчал Петр. — А что ж левый?

Но следом за правым глазом увлажнился и левый, и слеза скатилась в плошку.

Цепко оглядев еще раз фигуру — складчатую мантию, стоки, голову с нимбом — Петр легонько пихнул задумчивого Алексашку, сунул палец в плошку и пошел к выходу.

— Плачет, мин херц, Ваше величество, — упрямо, даже с укором повторил Алексашка, когда они вышли во двор, на солнце. — Слезочки аж текут...

— Видел! — рявкнул Петр. — Слезы пресные, не соленые! Это исследовать необходимо!.. Приготовь свечей<sup>к</sup>, да побольше — вечером еще раз придем. И лестницу!

Перед вечером в местечко по Немецкой дороге въехала пароконная повозка, густо обложенная пылью. В повозке, помимо возницы, помещались двое: помощник царского резидента в Гамбурге Антип Гусakov и нанятый им на русскую службу жид Лакоста. Лакоста терпеливо сидел в задке повозки, на сундучке с имуществом: двумя парами белья, отцовской субботней капотой, перьевой подушкой, книгами Священного писания и вавилонского Талмуда. На руках он держал дитя, годовалую девочку, бережно завернутую не то в полотенце, не то в занавеску. Де-

вочка морщила носик и чихала, а Лакоста сдувал пыль с ее лица и рукою отгонял мух.

Повозка подкатила к корчме, возница с Гусаковым соскочили, а Лакоста остался сидеть на сундучке. Лучше на свежем воздухе с ребеночком посидеть, тем более, больше не трясет. Пока еще там зажарят яичницу, напоят это их свиное сало... Нанявшись по горькой необходимости на русскую краесветную службу, Лакоста окончательно отказался от заповедной кошерности, здраво полагая, что не то важно, что в животе у еврея, а то, что у него в голове и в сердце. Питаясь круглый год мацой, ни на полшага не станешь ближе к Богу. Придя к этому заключению не вчера и не третьего дня, вольнодумец Лакоста подвергся в Гамбурге яростным атакам единоверцев и, не наймись он на эту службу, его, пожалуй, в самом скором времени прокляли бы по всем правилам, отлучили от синагоги и изгнали бы из общины. За двадцать пять лет своей жизни Лакоста перенес немало неприятных потрясений, но это, неотвратимо ему грозившее и такое, казалось бы, смехотворное по нынешним прогрессивным временам — это потрясение явилось бы, несомненно, самым неприятным и болезненным из всех: Лакоста не хотел ссориться и порывать со своим упрямым, как вол, странным и со стороны неприглядным народом. "Рабами мы были в Египте, и Ты вывел нас оттуда рукою крепкою" — это Лакоста желал ежегодно повторять за праздничным пасхальным столом, и петь трогательную, такую родную песенку про козленка — но на этом и исчерпывались его протокольные отношения с Богом. Зато личные отношения были беспредельны, и, ощущая это, Лакоста испытывал радость. Трясьсь на сундуке, с ребенком на руках, он не загля-

дывал в туманное северное будущее — но размышлял над тем, что и эта дорога ведет к Тому, кто ее предрек. И гамбургские ревнители кошерности ничего не могут с этим поделать.

Все, что они могли, они уже сделали: они способствовали краху его, Лакосты, предприятий, благодаря им все его коммерческие начинания, столь перспективные, сгорели дотла, не оставив даже горстки золы. Не в прямом, конечно, смысле: гамбургские законы следовало уважать, поджогом тут и не пахло. Просто еврейские фирмы вдруг отказались от его посреднических услуг. Он открыл торговлю медом — ретивые единовверцы обходили его лавочку стороной. Его золотой, бриллиантовый план вложений и компенсаций был поднят ими насмех — и вот теперь он везет его русскому царю. И еще эта ужасная история с женой... Одним словом, дела Лакосты свернули с дороги в кусты и покатались под гору. И в этом Лакоста видел отнюдь не Божью сильную руку, а только происки своих кошерных гонителей. Проще всего было бы, разумеется, вернуться — или хотя бы сделать вид, что вернулся — к исполнению всех этих смешных и нелепых традиционных правил, — но конфликт с общиной приобрел уже духовный, принципиальный характер, и поступиться своими принципами Лакоста не хотел. Отступление от принципов ради, в конечном счете, коммерческого успеха Бог, несомненно, не одобрил бы. Впрочем, в глубине души Лакоста с горечью полагал, что между человеком и Богом существует лишь односторонняя связь и что он, Лакоста, никаких сигналов от Него получить поэтому не может. Одобрение и неодобрение своим поступкам следовало искать единственно в собственной душе.

Размышления Лакосты были прерваны возницей:

подойдя, он громко постучал кнутовищем в стенку сундучка. Лакоста поспешно поднялся и, прижимая ребенка к груди, косолапо спрыгнул с повозки.

Антип Гусаков был возбужден, деятелен.

— Ну вот, — сказал Антип, — ну вот, что я тебе скажу: царь Петр стоит в этом городишке! Ты давай ешь и пошли: может, допустят к государю. Что он спросит — ты отвечай толково, лучше давай по-голландски, он это любит. По-русски слова которые выучил — тоже давай говори. Ты так скажи: меня Антипка мол Гусаков нашел для службы Вашему величеству. А я опережь доложу, как положено, кто ты таков и что умеешь делать. Понял? Сейчас, может, судьба твоя решится, и моя тоже.

А что я такое, действительно, умею делать? — не без лукавства думал Лакоста, шагая с ребенком на руках следом за Гусаковым по горячим и пыльным улицам местечка, мимо пустого уже в этот час базара, мимо грязного зловонного пруда к костелу. — На месте царя Петра я бы, безусловно, меня на службу не взял.

Стрельчатая дверь костела была затворена. Рядом с дверью сидел на круглом камне сторож.

— Чего надо? — не вставая, крикнул сторож. — Не велено пускать!

— Встать! — выкатив вперед подбородок, гаркнул Гусаков. — Не знаешь ты, что ли, к кому мы? — и сразмаху, грозно швырнул монетку под ноги смешавшемуся сторожу.

В храме было светло, светлей, чем днем. Два десятка толстых свечей горели ровным пламенем, освещая царя Петра, стоявшего в задумчивости на лестнице против фигуры Богородицы Скорбящей, вровень с ней. Меншиков, задрав голову, поддерживал лестницу, чтоб не поехала.

— Чего надо? — взглянув через плечо, шепотом спросил Меншиков. — Кто пустил?

— Финансового советника везу, Ваше величество, — обращаясь к спине Петра, закаменевшим вмиг языком дал справку Антипка. — Из Гамбурга. Я сам Антипка Гусаков, твой раб, помощник резидента.

С осторожностью переступая ногами по узкой перекладине, Петр медленно повернулся.

— Финансовый советник? — переспросил Петр, глядя сверху вниз. — Из Гамбурга? А что это у тебя в руках?

— Дитя, — сказал Лакоста. — Мое дитя. Ей всего годик. — Он поиграл пальцами перед лицом ребенка.

Петр смеялся. Тряслась его голова, тряслась лестница под ним. Алексашка, вцепившись, намертво держал.

— Это так ты едешь в Россию? — Петр перестал смеяться, спрашивал резко, сердито. — Младенца зачем с собой таскаешь? Где мамка ее?

— Она сбежала от меня, Ваше величество, потому что мне не повезло и я обанкротился, — вздохнув, сказал Лакоста. — Это очень тяжелый удар... Но вы только посмотрите, какой это замечательный ребенок, какой удачный! — он шагнул к лестнице, поднял девочку к царю. Тесный его дорожный кафтанец обтянул его спину, ветхие нитки не выдержали натяжки, и ткань с треском расползлась подмышками.

Алексашка фыркнул, снова усмехнулся и Петр.

— Правильно сделала, что бросила, раз ты такой дуралей, — сказал Петр. — Руки-то опусти, а то и штаны, гляди, у тебя упадут!.. Что ж ты мне за советы будешь давать, если сам себе не смог присоветовать и обнищал? Ты что ж, думаешь, в России одни дураки живут, дурей тебя? Или я тебе деньги буду платить за то, что ты немец?



— Жид он, Ваше величество, — подал голос Антипка. — У него план жидовский есть, финансовый.

— Ну вот, — кивнул головой Петр. — Ну вот... Да вы что, — он повысил голос, — сбесились все, что ль? Или смешить меня пришли? Жид с младенцем, жена сбежала от дурака, план какой-то... Мне сегодня не до смеха. — Он, отвлекшись было, вернулся теперь мыслью к стрельцам, и к великой Чистке, и что деньги для этого понадобятся немалые. — Ну, что там за план у тебя? Давай покороче?

— План простой, Ваше величество, — зачастил Лакоста, — но хитрейший. Судите сами: каждый человек дорожит своим сбережением, не так ли? — он сделал короткую паузу, и Петр на лестнице вынужденно пожал плечами: ну, да, каждый, это и дураку понятно. — Дом, скотина, — вдохновенно продолжал Лакоста, — телега — всего этого хозяин может лишиться: дом сгорит, скотина сдохнет, телегу украдут. Человек боится, что он все потеряет нажитое, что дети его, — Лакоста со вздохом, с любовью взглянул на ребенка на своих руках, — останутся нищими. Страх за имущество не дает покою хорошему хозяину. — Лакоста снова остановился, поглядел на царя, слушавшего с интересом. — Этот страх мы купим и продадим с обоюдной пользой. Это будет добровольный налог на страх, страховой налог! Владельцы имущества сами принесут нам деньги, каждый год будут приносить — ну, скажем, три процента от суммы владения, а если что случится с их имуществом — пожар, наводнение, мор, грабеж — мы им выплатим все сто процентов. И жизнь можно будет страховать в пользу наследников... Я прикинул: чистый доход с предприятия — процентов шестьдесят, а то и все шестьдесят пять.

Петр хохотал. Сотрясалось его большое тяжелое тело, сотрясалась лестница, в которую Алексашка вновь вцепился. Глаза Петра налились легкими слезами.

— Это, значит, ты думаешь, — сказал он через смех, — что наш русак потащит тебе деньги до того, как изба его сгорела или корова сдохла? Да лучше он эти деньги в кабаке пропьет с товарищами! Это у вас в Гамбурге потащат, а у нас так говорят: "Пока гром не грянет, мужик не перекрестится"... Сам жив, не околел еще — а деньги неси на всякий случай... Ну, ты меня насмешил, финансовый советник, как тебя там...

— Лакоста, Ваше величество, — подсказал Антипка Гусаков, улыбаясь жалко.

— Лакоста, — повторил Петр. — Финансовый советник... Кто тебя нанял — голову ему надо оторвать!

Антипка Гусаков обмяк, как от удара по голове, и прислонился к колонне.

— Не все же горят, Ваше величество, — с последней надеждой выдавил Лакоста. — И наводнения случаются довольно редко... Так что деньги у нас останутся! — он чувствовал, что ему предстоит дорога назад в Гамбург.

— Да, Лакоста, план у тебя жидовский, — прямо в лицо Богородице проговорил Петр. — Хороший план. Но нам он подходит, как корове седло. Лет через сто-двести, может быть... А ну-ка, лезь сюда!

Передав ребенка оторопевшему Меншикову, Лакоста полез по шатким ступенькам к царю.

— Гляди-ка, — сказал царь. — Плачет она?

— Нет, — мельком взглянув на лицо Богородицы, сказал Лакоста. — Деревяшка не может плакать. Человек может плакать, глядя на деревяшку.

— Плачет, плачет! — подал голос Меншиков. — Не слушай, мин херц, жидовскую ересь! Если Господь захочет, и железо заплачет.

— Да, но Господь не разменивается на такие шутки, — опасливо косясь на Меншикова, заметил Лакоста. — Зачем это Ему? У Него, что, других дел нету — только устраивать цирк в этом городишке?

— Значит, не плачет? — улыбаясь поощрительно, спросил Петр. — А что ж это у нее?

— Вода, — сказал Лакоста. — Воду налили. И дырочки должны быть. Можно, я посмотрю?

— Стой! — насупился Петр. — Я сам посмотрю.

Игольчатые дырочки были обнаружены наощупь. Царь осторожно потянулся к нимбу и, поворачивая, снял верхнюю часть головы. В голову, как в чашу, была налита вода, там плавали мелкие юркие рыбки.

— Теперь понятно, — водворяя нимб на место, удовлетворенно сказал Петр. — Рыбки плавают, создают волнение и гонят воду в дырки. Алексашка, выдай ксендзу три рубля: хорошо придумал!

Лакоста спустился, принял ребенка из Алексашкиных рук. Алексашка недовольно, показно вытер руки о штаны.

— Ну, а с тобой что делать, советник? — Петр как бы заново оглядывал и исследовал Лакосту. — Обрато к немцам тебя надо отправить с твоим планом, а?

— Верно, мин херц! — поддакнул Алексашка. — Нам своих жидов хватает.

— Однажды в глубоком озере, — тихонько покачивая ребенка, сказал Лакоста, — нашли большой тяжелый сундук. Жители прибежали со всей округи, и князь приехал: клад нашли, золото! Оставалось только поднять сундук со дна. ”Жиды тут есть? — спросил

князь у толпы. — Этот сундук — наш, древний сундук, и что бы там ни оказалось, жидам из него ничего не полагается. Так что вы, жидаы, отправляйтесь по домам, нечего вам тут делать!” Жидаы и пошли, обсуждая по дороге изречение нашего мудреца ”И это к лучшему”. А гои разделись и стали нырять в ледяную воду, и многие утонули. Потом сундук все-таки вытащили, тяжелый большой сундук, и каждый хотел открыть его первым, и все вместе хотели быть первыми. И началась драка, и многих убили, и вдовы и сироты плакали на холме. Наконец, уже близко к ночи, сундук открыли — он был доверху набит бульбжниками и песком. ”Вот жидаы проклятые! — сказал князь. — Им и здесь подвезло: в озере не тонули, в драке не рзались, день не потеряли, домой первыми ушли!”... Я ухожу, русский государь, и по дороге буду размышлять над изречением нашего мудреца ”И это к лучшему”.

Петр смеялся, закинув голову. Блестели его крупные крепкие зубы под жесткими усами.

— Это жидаы сундук подкинули! — сказал Алексашка возмущенно. — Очень даже просто: сами и подкинули.

— Ты постой-ка! — сказал Петр с места покамест еще не двинувшемся Лакосте. — Ты меня рассмешил, и историю рассказал забавную... Ты вот что, Лакоста: шутом пойдешь ко мне служить?

— Пойду, Ваше величество, — немедля согласился Лакоста.

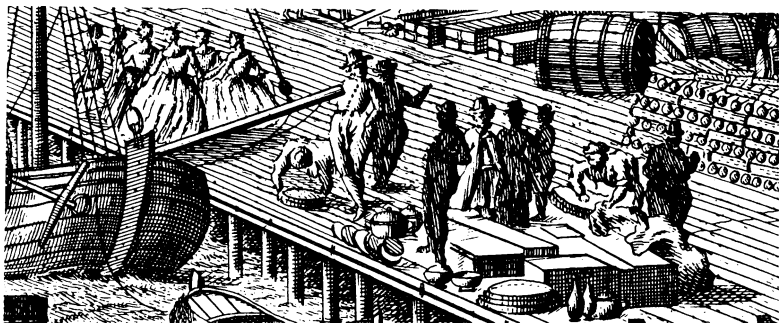
— Да что он в этом деле понимает! — досадливо покривил красивые губы Меншиков. — Что умеет? Что знает?.. Да какой из жидаы шут!

— Я знаю, что я буду делать, — сказал Лакоста. — Плакать.

— Это с какой же радости? — удивился Петр и ждал ответа нетерпеливо.

— Потому что когда еврей плачет, — объяснил Лако-ста, — гои смеются.

У Антипа Гусакова царь велел вычесть месячное жалованье: в людях не разбирается, не смог отличить шута от финансового советника.



#### 4. ВЕЛИКАЯ ЧИСТКА. 1698

**Л**акоста рад был знакомству с Дивьером: как никак, еврей, свой человек, к тому ж приятный. На первом же перегоне новоявленный шут доверительно рассказал Дивьеру о своих неприятностях: о сбежавшей жене, о прогоревшем страховом плане, о ссоре с гамбургскими евреями. Бывший пират слушал сочувственно, особенно последнее: упорно считая себя евреем, он, тем не менее, не ставил под сомнение вкусовые преимущества кровавой отбивной перед сугубо кошерной, а дедовский талит и кипу извлекал из молитвенного мешочка только раз в год, в Йом-Кипур.

— Не все ли равно, кем служить еврею при русском царе? — слушал он Лакосту. — Шут! Шут — это, в сущности, актер придворного театра, солист. С актера куда меньше спроса, чем, скажем, с финансового советника. Ведь так, Антуан?

— Точно так, — по-военному кратко соглашался Дивьер.

— Царь Петр, как будто бы, обаятельный человек, — вопросительно взглядывая на Дивьера, разведывал

Лакоста. — Он разрешил мне ходить в обычном платье, актерское не надевать. Это благородно с его стороны: в актерском я, все же, чувствовал бы себя неловко.

— Ну, конечно, — кивал головой Дивьер.

— А ты будешь у него моряком? — спрашивал Лакоста. — В конце концов, это тоже неплохое дело.

На этот вопрос Дивьер не мог ответить даже самому себе: он не знал, что собирается ему поручить царь Петр. Он ждал терпеливо, догадками себя не изводил: придет время — ему скажут. Нет никакой разницы в том, как добывать деньги: пиратствовать ли в Южных морях, следить ли за опальными русскими недорослями. Одно было ясно совершенно: чем ближе к царю, тем больше денег. В обмен на большие царские деньги Дивьер собирался трудиться деятельно и добросовестно. Он понимал, как ему повезло: не спихни он тогда, на маневрах, царского помощника в море — лазать бы ему по сей день по вантам "Петра и Павла", а не ехать в крытом возке следом за русским царем. Теперь следовало это свое везенье развить, закрепить прочно, как парус на рее. И так он и сделает, когда скажут ему: "Крепи!" Силы хватит... Но шутком он, все же, не хотел бы быть — даже при царе.

Возки катились скоро, царь заметно мрачнел по мере приближения к отечеству. Кабысдох вертелся около него безотлучно, как кошка или собака. Конкуренту Лакосте черный карла причинял, по мере возможностей, мелкие неприятности: подбрасывал жуков и гусениц в тарелку, показывал язык, а однажды, подкравшись и подняв ножку, помочился ему на башмак.

— Дай ему по шее, — советовал Дивьер, — только не искалечь. Беспольный тип, сидел бы себе в коробке...

Сам Дивьер, которому Кабысдох в первый же день

путешествия подстроил пакость — подсыпал толченого перца в нюхательный табак — действовал весьма оперативно: схватил карлу за шиворот и держал его над бивачным костром до тех пор, пока тот не задымился и не заорал благим матом. Дивьер не имел ненависти к карле и, тем более, не мстил ему за проделку — просто Кабысдох ему мешал, как мешает гвоздь в башмаке, не очень острый. Он, пожалуй, и прибил бы карлу, если бы не боязнь навлечь на себя гнев за разрушение царской игрушки.

В отличие от оперативного Дивьера, Лакоста видел в карле человеческое существо, хотя и чрезвычайно вредное. Дать ему по шее было непросто, хотя бы из чувства брезгливости. Объяснить же ему что-либо представлялось и вовсе невозможным: в ответ на увещевания Кабысдох плевался и шипел.

— Только по шее, — повторял свой совет Дивьер. — Но — не сильно.

— Он такой противный, такой несчастный человек... — возражал Лакоста.

— Нет! — отвергал Дивьер. — Он не человек. Он — так, для забавы... И, потом, какое тебе до него дело? Он тебе не родственник, никто. Возьми вот палку и дай ему по шее, если не хочешь рукой. А если он тебе так мешает, лучше от него вообще избавиться.

— Но как? — горько спрашивал Лакоста.

— Брось его ночью в реку, — пожимал плечами Дивьер. — Он тебе, в конце концов, чужой человек.

— Лучше я просто не буду обращать на него внимания, — решил Лакоста.

Купола московских церквей увидели перед вечером. Ленивое августовское солнце лежало на золоченых маковках, зажигало высокие, с косой нижней перекладиной кресты. Под крепостной стеной, под



бугром, скользила темная река. Приземистые деревянные домишки обсели межхолмья и речной берег. Над первыми же городскими воротами торчала, воткнутая на палку, почерневшая и ссохшаяся человеческая голова.

— Здорово, родимый! — закричал Кабысдох мертвой голове. — Вот и мы! Приехали!

— Какое это все чужое, — прошептал Лакоста, наклонившись к Дивьеру. — То ли татары, то ли Китай... И нас здесь всего — двое.

— Ну, и Шафиров, — холодно глядя на черную голову, сказал Дивьер. — Он, все-таки, наш.

В столице не задержались: Петр велел ехать в Преображенское.

Стрельцов гнали и везли в Преображенское, в Тайный приказ, закованными, держали в подвалах, в погребах. Чудом оставшиеся в живых зачинщики, числом трое — пятисотенный Артюшка Маслов, стрельцы Васька Игнатьев и Ефремка Гагин — сидели в пыточном подземелье Ромодановских палат.

Царь сам руководил розыском и дознанием. Он почти и не выходил от Ромодановского — дневал там и ночевал, ел и спал урывками, проводя большую часть времени в застенке. Усердие его окупилось: под пыткой стрельцы показали, что царевна Софья письменно сносилась с бунтовщиками из своей кельи в Новодевичьем монастыре, подбивала их выступить против Петра. По ее наущению был пущен в народе слух, что царь умер за границей и ждать его возвращения нечего... Само письмо, правда, как в воду кануло, и Софья с бешеным упрямством, так схожим с упрямством Петра, отрицала его существование. Но можно

было ее и понять: найди Петр письмо — не сносить сестрице Софье головы.

В сенях Ромодановского проживал на серебряной цепи лесной медведь, ученый. Не успевал гость войти в сени, как медведь, облизываясь длинным страшным языком, подступал на задних лапах с чаркою крепчайшей водки. И кто терялся или не хотел брать — того зверь облапывал, а то и одежду драл. Поднимаясь из сырого застенка, Петр с удовольствием принимал горячительное, дивясь учености медведя. Однажды, когда медведь порвал кафтан и рубаху на не проявившем должной расторопности Петре и оцарапал ему плечо, князь-кесарь велел убрать зверя из сеней — но царь воспротивился.

В подвале, по соседству с пыточной, проживал другой медведь — белый, дикий. Его пускали в ход, когда дыба и кнут не действовали, и узники запирались. И не было такого, кто выдержал бы встречу с полярным медведем, огромным, как телега. Попасть к нему в лапы, к нему в пасть было жутче, чем висеть на дыбе.

Задумав Чистку, Петр разумел действие масштабное, показательное и срочное. В соответствии с этим стрельцов хватали по всей России, волокли со всех сторон. Заниматься личной судьбой каждого, взвешивать его вину на весах не было нужды, да не было и возможности: царь не мог разорваться на тысячу кусков. Но и доверять кому-либо допрос и истязание он не желал: не желал замешивать кого бы то ни было в свои отношения со стариной, со стрельцами, с Софьей. Эта чистка должна стать его, Великой Петровой Чистой.

Два раза вызывал царь Дивьера, которому велено было покамест все служебное усердие употребить на

изучение русского языка. Сидя в углу застенка, мокро пахнущего кровью и калом, Антуан Дивьер без любопытства наблюдал за тем, как Петр с Вытащи рвали ногти у государственных преступников, секли их кнутом, прижигали каленым железом. Пропуская мимо ушей крики пытаемых, Дивьер думал о том, как, должно быть, богата Россия людьми, жизнью которых так щедро разбрасывается государь. Ведь каждого такого человечка, вместо того чтобы его увечить и казнить, можно с пользой и без всяких почти затрат приставить к какому-нибудь делу: гатить топи, прорубать военные и торговые дороги, строить мосты. Сотня таких человечков, с учетом смертного отсева, надобна для того, чтобы возвести большой каменный дом, тысяча — чтобы проложить пять километров дороги... А Петр бьет и рубит, сам себя обирает. Рубит и бьет и никак не может остановиться, как загулявший в кабаке русский мужик.

Продержав Дивьера полночи и сам еле стоя на ногах от усталости, Петр отпускал его восвояси:

— Ступай, Антон... А тебе их не жалко? — он кивал на очередного человечка, корчившегося на дыбе.

— Нет, государь, — отвечал правду Дивьер.

— Они бунтовщики, воры! — дергая головой, кричал тогда Петр, и Вытащи в страхе отступал от беснующегося государя. — Они все против меня, весь этот тупой воровской народ! Я выбью из них дурь, выбью!.. Ну, ступай, Антон.

Если весь народ против тебя, — рассуждал Антуан Дивьер, шагая по ночному Преображенскому к отведенной ему избе, — то каждого десятого надо послать на полезную работу, подальше от дома. А кто из них вздумает бунтовать или бежать — того уж надо казнить, чтоб другим было неповадно. И так лет через

десять Россия станет не хуже других, и у царя врагов резко поубавится. А иначе, пожалуй, никак: всех на дыбу не подымешь, да и ни к чему это.

Со следствием Петр управился за месяц с малым. Две трети стрельцов, свезенных в Москву, не подвергались допросам: их участь была решена заранее. За этот месяц царь тщательно продумал процедуру казни. Осужденным надлежало прибыть к назначенному месту в черных телегах, по двое. Каждому из осужденных предписывалось держать в руках зажженную свечу. Казни для всех были определены простые: отрубление головы, повешение. Эта нарочитая простота, отчасти мрачная, и быстрота прихода смерти должны были подействовать на народ с особой силой: никогда еще российские государи не расправлялись со своими врагами таким бесхитростным способом — без четвертования, без колеса. И в этом тоже заключалась пугающая новизна и дыхание времени. А для того, чтобы московский народ не забывал о Великой Чистке, а приезжий люд набирался науки и, вернувшись в свои углы, учил других — для этого Петр приказал трупы казненных на улицах и площадях оставить на полгода, до весны.

Для себя и своих приближенных Петр выбрал Красную площадь. Там за день до казни устроили как бы коридор — расставили в два ряда пятьдесят две плахи, каждая высотой в два локтя. Петр сам примерил и установил высоту: опустившись на колени, удобно расположил голову на пробной плахе и одобрил.

Утром назначенного дня сотни черных телег потянулись из Преображенского в Москву. Ветра не было, как по заказу, и свечи ровно горели в руках осужденных. Тысячи москвичей, согнанных со всех концов

города, молча стояли вдоль дороги и толпились на площадях, вокруг плах и виселиц.

У Покровских ворот часть телег отсекли, отделили от общего потока и направили к Красной площади. Здесь в каждую плаху, белую, пахнущую хвоей и лесной смолой, врублен был новый топор на удобном, слегка изогнутом на конце топорнице. За первой плахой, засучив по локоть рукава кафтана, стоял Петр.

Черные телеги двигались слаженно, красиво. Преображенская стража, потеснив народ, открыла узкий проход, ведущий сквозь площадь к плахам, к царю. Царь был торжественен и, пожалуй, грустен.

У царевой плахи первая телега остановилась, за ней стали и другие. Стража быстро, деловито ссаживала стрельцов с телег, вязала им руки за спиной. Недогоревшие свечи бросали, за отсутствием специального циркуляра, в кучу.

К Петру подвели, толкая в спину, пятисотенного Артюшку Маслова, содрали с него рывком книзу черную рубаху.

— Ну, давай, — дернув щекой, негромко сказал Петр. — Становись.

Медленно перекрестившись, Маслов опустился на колени и примерился головой к плахе. По свежему срубам дерева, волоча измазанные клейкой смолой лапки, полз муравей, и Маслов чуть отодвинул голову с его пути.

Петр прикинул топор по руке, огляделся. Народ тихонько выл. Палачи, следя за царем, стояли с поднятыми топорами за плахами.

— Алексашка, Шеин, Волконский, взять топоры! — крикнул Петр. — Рубить всем! И ты, Зотов! И ты! —

Откинув длинное туловище, глядел, не мигая, как исполняют веленное. — Живо! Ну, живей!

— Руби без отяжки, государь, — услышал за спиной шепот Вытащи. — Само пойдет.

Замахиваясь, набрал воздуха и, метя на ладонь ниже затылка, ударил. Голова отделилась на удивление легко, топор глубоко вошел в плаху. Нагнувшись, чтобы выдернуть топор, заметил барахтавшегося в крови муравья и сшиб его щелчком на землю. Потом выпрямился, перевел дыхание, вытер липкие пальцы о штаны.

Плаха пахла смолой, лесом, кровью.

Кто-то набежал сзади, оттащил бьющее ногами тело.

Стража волокла к плахе отбивающегося Ефремку Гагина. Глядя, как его пригибают, гнут, Петр обернулся и поманил Дивьера.

— Держи, Антон, — сказал Петр, передавая ему топор. — Руби! Ну!

Дивьер принял топор, оглядел его сосредоточенно. Можно отказаться, плюнуть, вернуться в Амстердам. Можно размахнуться, опустить топор на плаху. Только один раз. Кто они, эти человечки в черном, что они сделали? Да что б ни сделали — они чужие, не свои. Свои идут в синагогу, кричат там и спорят неизвестно о чем. Тем не стал бы головы рубить, дрогнула бы рука. А эти — русские, чужие, как все здесь чужое. Как та черная голова, что торчала на палке, над воротами, в первый день по приезде. Только один раз! Это ведь русский царь проверяет, испытывает. Если сам он рубит своих, почему ж чужаку не рубить по чужому? Только один раз — и служба, и карьера, и деньги. Крови, что ли, он не видал, Антуан Дивьер, не убивал людей? Так то в бою...

— Ну! — услышал он хриплый петров голос.

И, попробовав острие топора на ногте, встал за плаху.

Вечером того дня праздновали новоселье Лефорта во дворце его, в Немецкой слободе. Петр много пил, был весел, добр. Обняв хозяина, взял его за уши, приблизил голову к себе, нос к носу, сказал:

— Франц, душа моя, что с тобой? Ты будто с расвета рук не покладал. У тебя плохой вид! Или болен?

Франсуа Лефорт болел уже с месяц: оловянный вкус во рту, печень, упадок сил. Дворец, сложенный из красного кирпича, с высокими потолками, с мраморными полами, радовал сердечно — но вот пришло письмо из Женевы, и все пошло насмарку. Писал брат, торговец недвижимостью.

”Любезный Франсуа! — не слишком-то горячо писал брат. — Должен опечалить тебя: наша мать тихо скончалась в своем доме и похоронена на городском кладбище, в семейном склепе. Вся наша семья, все братья и сестры, и Жан, и дядя Арнольд присутствовали при погребении...”

Сидя у камина в малой гостиной, кутаясь в плед, Лефорт мучительно вспоминал, кто ж таков этот Жан. Как будто это имело какое-то значение: кто таков Жан. И, так и не вспомнив, огорчился очень.

”Ты уже не молод, Франсуа, — писал далее брат, — ты провел на чужбине почти всю жизнь. Мы знаем, что ты сделал кое-какие сбережения, что русский царь к тебе благоволит и произвел тебя в генерал-адмиралы. Это всех нас несколько удивляет: ведь ты ни в детстве, ни в юности не имел склонности к военным упражнениям и, по твоим же сообщениям, состоял при царе Петре в качестве учителя голланд-

ского языка. Как же сделался ты вдруг генерал-адмиралом, если в России, по нашим сведениям, нет моря, а Женева, как ты помнишь, стоит на берегу озера?.. Все это очень беспокоит нашу семью, и некоторые из ее членов считают, что ты стал авантюристом”.

На этом месте Лефорт прервал чтение, зачерпнул из вазы горячего пунша с ромом и выпил залпом. Значит, авантюрист. И это почти презрительное ”как ты помнишь”... Старый авантюрист. Ну, что ж, это отчасти правда. Если бы после Азовской победы братья, дядя Арнольд и этот таинственный Жан видели его, Лефорта, триумфальное возвращение в Москву: коляска в виде морской раковины, нелепая Триумфальная арка, пьяный вдрызг князь-папа Никита Зотов — они были бы шокированы. А если б они узнали, что их веселый Франсуа, адмирал, так и не побывал ни разу ни на одном корабле — они бы просто лишились дара речи... Учитель голландского языка, поставивший своему юному воспитаннику девицу Анну Монс из Немецкой слободы. И благодарный ученик жалуется его генерал-адмиральством и всю Россию хочет превратить в Немецкую слободу... Кто ж таков, все-таки, этот Жан, будь он трижды неладен?

”Никто из нас, — писал брат, — включая дядю Арнольда и, разумеется, Жана, не можем поверить, что у тебя в мыслях нет вернуться к нам на старости лет, что в твоём сердце, некогда таком добром и отзывчивом, не осталось любви к родному дому. Приезжай, дорогой брат, возвращайся! Каковы бы ни были твои сбережения, ты можешь твердо рассчитывать на участие в нашем семейном деле — торговле недвижимостью. Ведь счастье переменчиво, а здоровье невосстановимо. Пришло время нам вновь объединиться и закончить свои дни в мире и покое, близ дорогих могил”.



Прочитав письмо, Лефорт откинулся на спинку глубокого кресла, вытянул ноги к огню и задумался. Камердинер, явившийся доложить о приезде первых гостей, не решился его потревожить: казалось, он спал. Но он просто лежал с закрытыми глазами, и видел Женеву, и горы над озером Леман, и брата, и даже этого самого заботливого Жана, которого он никак не мог припомнить. Как было бы хорошо, если б этот его новый дворец стоял на берегу женеvского озера, а не в московской Немецкой слободе! С болезнью к Лефорту пришла неведомая прежде чувствительность: двумя пальцами он легонько надавил на уголки закрытых глаз и, выдавив слезинки, размазал их по щекам. Потом, устало и горестно проведя большими горячими ладонями по лицу, поднялся на ноги.

Пройдя сквозь парадную гостиную и танцевальный зал, Лефорт вышел к гостям. Царь еще не прибыл, и хозяин, раскланиваясь направо и налево, выслушивая восторги и поздравления, спустился на широкое каменное крыльцо. Коляски и кареты подъезжали одна за другой, знатные гости, путаясь в длиннополой праздничной одежде, подымались по мраморным ступеням. Генералиссимус Шеин, князь Долгорукий, князь Ромодановский, Головнин, братья Нарышкины, молодой Гагарин, бояре, думные дьяки, послы... Вот и Петр подъехал в своей двуколке, взбежал по лестнице, расталкивая тучных сановников. После казни царь переменял платье — надел простое немецкое, черное, без шитья и позументов. Рядом с ним востроглазый Алексашка в пунцовом полукафтани, в зеленых атласных панталонах, в высоком завитом парике казался роскошным принцем.

За стол сажались шумно, оценивая диковинные

блюда и заморские вина — и, рассевшись, вдруг стихли: не знали, за что пить первую, да и вид больших овечьих ножниц, со стуком положенных Петром перед собою на скатерть, настораживал.

— Ну, что приуныли? — сощурился глазами, с усмешкой бросил Петр. — Сегодня утром хорошо мы потрудились для блага отечества, сняли заразную нечисть на все времена. Теперь можно дальше двигаться, ума набираться от тех, кто им богат... За тебя пью, Франц, душа моя, за твой дом, за то, что стоит он посреди Москвы! — Подняв стакан — широкую низкую склянницу с приказной водкой — Петр посмотрел его на свет. На стекле был вырезан герб Лефорта: слон на щите, увитом лентами.

— Специально к сегодняшнему дню сделали, Ваше величество, — пояснил Лефорт. — Слоны — это "форт": сила, крепость. Отсюда и "Лефорт".

— Дарю тебе, душа моя, моего орла в герб, — сказал Петр. — Орел и слон — хорошо, красиво...

Лефорт улыбался благодарно, сквозь слезы. Жалко, брат всего этого не видит. И еще жальче, еще горше, что это все происходит в Москве, а не в Женеве.

После водки пили ренское, сладкую романею. Ели поросятину, студень с солеными лимонами, куриные ножки с обернутой золотой бумагой костяной частью. Ели изюм, чернослив, медовую пастилу и персидскую халву. Дамы уже проявляли нетерпение, шептались в ожиданье танцев.

— Шеин! — стукнув ножницами по столу, позвал Петр. — Поди сюда!

Генералиссимус тяжело поднялся из-за стола, пошел нетвердо; длинная бархатная ферязь мешала ему, путалась в ногах.

— Руки давай! — приказал царь, и Шеин покорно протянул руки. Ловко орудуя ножницами, Петр отхватил рукава ферязи, спускавшиеся ниже пальцев, потом и полы по колено. — Где ты в Европе такое видал? — приговаривал царь. — Это помеха, везде надо ждать какого-нибудь приключения: то разобьешь стекло, то в похлебку залезешь. А отрезанное береги: сапоги сошьешь.

За Шеином пришла очередь Ромодановского, потом Нарышкиных. Вызванные подходили безропотно, молча: государь кромсал вынутую из фамильных сундуков драгоценную праздничную одежду, одежду отцов-бояр и дедов-полководцев. Кромсал по живому, стриг старинную вольность удельных князей и своевольных воевод. Но лучше лишиться одежды, чем головы.

Подскочил карла Кабысдох, выхватил ножницы из рук царя и, нырнув под стол, принялся окорачивать ферязи и охабени. Петр хохотал. Чувствуя проворные, бегающие пальцы карлы, гости улыбались боязливо и скорбно. Выкатившись из-под стола, арап подбежал к Лакосте, норовя отхватить у него воротник кафтана.

Перехватив руку Кабысдоха, Лакоста крепко сдавил ему запястье. Ножницы со звоном упали на пол. Гости, затаив дыхание, переводили взгляды с царя на нового шута.

— Кто этот шаловливый мальчик с нездоровым цветом лица? — громко спросил Лакоста и, нагнувшись, несколько раз с силой шлепнул карлу по задку. — У него в сердце живет змея.

Царь захохотал, неуверенно засмеялись и гости.  
— Танцы! — хлопнув в ладоши, приказал Петр.

Гости, стыдливо оглядывая друг друга, подымались из-за стола.

Играли дворовые музыканты, специально обученные, под началом немецкого капельмейстера Клейнмихеля. Показывая пример, Петр открыл танцы. С ним в паре шла бело-розовая немочка, жена брауншвейгского посланника. Сам посланник стоял в стороне, помахивая рукой в такт музыке с чрезвычайно довольным видом. Слуги разносили меж танцующими флин — гретое пиво с коньяком и лимонным соком. Алкоголь делал свое дело: в обрезанной одежде, растрепанные и пьяные, гости скакали, топали и вертели повизгивающих женщин. Странное, со стоном бьющее через край веселье овладело всеми.

Дивьер плясал с Анной Меншиковой — курносой русой красавицей, востроглазой как брат, большегрудой и крутобедрой. Он уже за столом заметил ее и не спускал с нее глаз, и девушка то и дело как бы невзначай поглядывала на красивого смуглого иностранца. Она не была мастерицею строить куры, и неумелое ее поглядывание обжигало темпераментного пирата синим пороховым огнем. Оценив Александру по матросскому счету, он пришел к выводу, что заняться ею следует, и не откладывая. Он и не откладывал. Он методически переводил взгляд с лица девушки на ее высокую грудь и гадал о том, чья она дочь и что за этим стоит. А потом начались танцы, Дивьер пригласил ожидавшую приглашения Анну и уже ее не отпускал.

Алексашка в зеленых штанах, в сбившемся набок парике подлетел, держа руку на эфесе шпаги.

— А ну, отпусти! — высоким голосом закричал Алексашка. — Чего вцепился! Не про тебя это!

Увидев подходившего Петра, Дивьер подумал и не отпустил.

— Это что такое? — сдвинув короткие брови, сказал Петр. — Почему не танцуете?

— Да это сестра моя, мин херц! — возмущенно кричал Меншиков. — Анька это! Да чтобы всякий жид...

— Не всякий жид, — строго перебил Петр, — а советник по делам тайного сыска Антон Мануйлович Дивьер.

”Стоило рубить, — вихрем пронеслось в красивой голове Дивьера. — Вот плата. А эта роскошная девка — сестра Меншикова... В этой стране, кажется, можно жить”.

Перед утром Петр, выйдя из Лефортова дворца, отправился по знакомым улочкам к нарядному домику Анны Монс. Пьяный Кабысдох увязался за хозяином. Шатаясь и падая, он пел ругательную песню, потом замолчал.

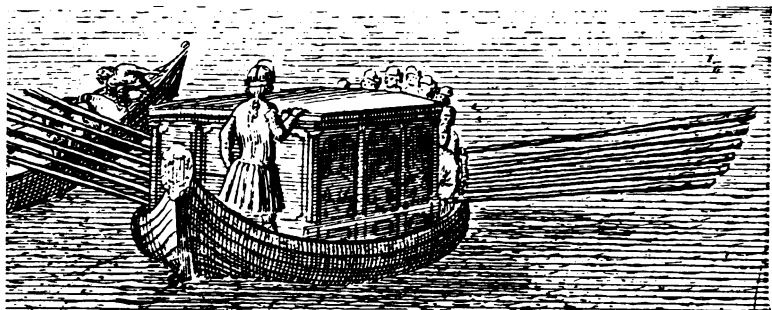
— Ну, где ты там? — обернулся Петр; карлу могла загрызть собака, и это было бы огорчительно.

— Вот я! — откликнулся Кабысдох из чьей-то цветочной клумбы. — Живот подвело, Ваше величество... А-а! — вдруг завопил карла. — Змея! Из меня змея лезет! Государь!

Помедлив мгновенье, царь решительно шагнул в цветы, нагнулся над присевшим карлой и протянул руку.

— Это не змея, дурак! — облегченно сказал Петр, змей боявшийся. — Смотри, что это: нутрянной червь. А почечуй почему не лечишь? Завтра я тебе шишку вырежу, и анатомии заодно подучу: все польза будет. Смотри только, не сбеги!

Кабысдох от ужаса выл, ему из-за заборов отвечали собаки.



## 5. ВЕСЕЛЫЙ ОСТРОВ. 1703—1704

**Н**о пора поговорить о народе!  
— А что о нем говорить? Народ — он и есть народ.

— Строительство потребует десятки тысяч душ.

— Десятки! А сотни не угодно ли?

— Тут полно чуди. Вот и надо их выловить и сюда свезти.

— Чудь! Они нашего наречья не понимают и кишкой тонки.

— По кишечной части никто не устоит против русского мужика.

— Верно заметил, Ваше превосходительство: русский мужик — дурак отличный. Такого во всем свете не сыскать.

— Пора, господа, пора поговорить о народе.

Дивьер, сидя в углу комнаты, в стороне от стола, ухмыльнулся насмешливо. Что это значит — народ? То серое месиво, что вчера из-под палки взялось возводить пятый крепостной бастион? Ивашки да Агашки? Или этот гусь крашенный, Алексашка проклятый Мен-

шиков? Вон сидит, развалился, ножку за ножку заложил: "По кишечной части..."

Меншикова Дивьер не то, чтобы ненавидел — но опасался всерьез. Попытка посвататься к Анне окончилась неудачей: на жениха спустили собак и слуг, и только выдернутый из тына кол да быстрые ноги спасли его от растерзания. Дивьер знал, что приказал хозяин, спуская дворню: "Бить досмерти!" Знал — и все же не ненавидел. Ну, можно ли ненавидеть бревно, свалившееся тебе на ногу! Изрубить его можно на полешки и печку протопить с пользой... Но Меншикова нельзя было ни рубить, ни резать — за это царь оторвал бы голову. А посему Алексашку следовало опасаться, как змеи в траве: он ведь тоже этого не забыл — "Бить досмерти" — а если и забыл, то вспомнит еще не раз. Дивьер ему напомнит, да и Анна.

Анна имела круглое пухлое лицо и голубые, чуть водянистые глаза, всегда как бы чем-то удивленные. Тонкая ее и шелковистая кожа оставалась теплой даже в самую скверную невскую погоду, и это было приятно и волнующе до тяжести в коленках. Ее любимым словом было "ой!": "Ой, Антоша!", "Ой, батюшки!", "Ой, нечистая сила!" Антуан Дивьер решил на ней жениться, во что бы то ни стало.

Сидя в углу комнаты, в царевом домике на Веселом острове, что в устье реки Невы, он ждал прихода хозяина. Петр должен был вот-вот прибыть; отпустив своих людей, он задержался на строительстве крепости: бродил там, выдирая ноги из ледяной грязищи, вокруг бастионов.

Перевод из Москвы в заложенный полгода назад Санкт-Петербург Дивьер воспринял как повышение по службе: здесь он отвечал и за сыск, и за порядок, и за само строительство нового города. И, хотя генерал-

губернатором сюда был послан все тот же проклятый Алексашка — и в этом Дивьер усматривал несомненную свою удачу: Анна жила при брате.

— Назло шведу построю город и порт под боком у него, — сказал Петр, объясняя Дивьеру его будущие обязанности. — Санкт-Петербург, российский Амстердам... Знаешь, почему такое название дал?

— В честь святого апостола Петра, — не моргнув глазом Дивьер.

— Смышлен ты, Антон, — усмехнулся царь. — Быстроумен.

Одним быстроумием, однако, не справиться было в городе Святого Петра, на Веселом острове. Работный люд ни за какие коврижки не желал ехать на край земли, в гнилые болота. Солдаты, возводившие крепостные стены, роптали и бежали: лучше без ноздрей в Сибири сидеть, чем здесь лежать в яме. Не помогала ни тяжелая рука Дивьера, ни порки, ни казни. Все чаще вспоминал Дивьер полезный опыт пиратского острова Святого Младенца.

— ...Государь постановил — наше дело слушаться, — доносилось из-за стола.

— Своими-то руками город не построишь — людишки нужны.

— Да где их взять-то? Своих, что ли, дашь?

Царь вошел стремительно, потирая озябшие красные руки. Подойдя к столу, взял чей-то стакан с вином, выпил длинным глотком.

— Плохо! — сказал, отдышавшись. — Плохо, господа! Если к исходу месяца не заложат шестой бастион, шкуру спущу! Со всех!.. Антон, карту.

Дивьер подошел, на ходу разворачивая карту невского устья.

— Вот здесь, — Петр ткнул пальцем с обкусанным



ногтем, — назначено ставить Адмиралтейскую верфь. Здесь — склады и причалы. — Он поднял голову, долбя тяжелым взглядом затылки склонившихся над столом, над картой людей, и повысил голос до крика: — Где это все? Что уставились — в первый раз, что ли, слышите? Крепежные сваи где? Украли? Александр!

— Мин херц... — не подымая глаз, выдавил Алексашка. — Мин липсте фронт... Вон он, — указал на Дивьера, — он не прилежен и из рук вон...

— Позвольте доложить, Ваше величество, — бесстрастно покосившись на Меншикова, сказал Дивьер. — Крепежные сваи вбиты числом двести сорок девять, одну люди пожгли в костре ввиду сухости дерева. А не видать их, потому что водой накрыло — высока вода. — И, доверительно склонившись к государевой голове, прошептал — но так, чтоб услышать и Меншикову: — Уделите, Ваше величество, четверть часа для частного разговора наиважнейшего.

Привыкший к краткости Дивьеровых речей, Петр смотрел удивленно.

— Ну, ладно, — сказал Петр. — Останься потом... Дай-ка вина, что ли — изнутри аж промерз. И закусь чего-нибудь.

Алексашка, как сидел с головой, свешенной чуть ни до колен, так и метнулся быстрой тенью в кухню: пронесло, кажется, слава Тебе, Господи! Отрадней всего было то, что неприятный разговор о сваях иссяк как бы сам собой. Весьма неприятный разговор — потому что на прошлой неделе полсотни этих самых свай Алексашка загнал по сходной цене заезжему перекупщику ку-чухонцу.

А Петр, грохоча по полу ботфортами, прошел в спальню и, затворив за собою дверь, тяжело опустился на кровать. Болело горло, тяжело гудело в висках.

Поднеся ладонь ко лбу, царь на ощупь определил: жар. Побаливала и печень, тянуло там что-то и грызло после быстрой ходьбы. Взяв со столика зеркальце в серебряной рамке — давний подарок Анны Монс, Петр открыл рот и долго и придирчиво рассматривал высунутый язык. Язык был чист, и Петр почувствовал к нему некое подобие признательности: хороший, верный язык, не подвел. Удовлетворенно вздохнув, он подтянул поближе к себе походную аптечку — изящный сундучок английской работы, инкрустированный бронзой и украшенный масляной картиной с изображением шляпки на канале — и отпер центральный замочек, привычно откинул крышку и боковые стенки на шарнирах. Задумчиво поцокивая языком, он прошелся пальцами по головкам серебряных, вызолоченных внутри бутылочек — их было шестнадцать, каждая в своем бархатном гнезде, заглянул в блестящую медную ступку. Потом выдвинул один за другим выложенные красным сукном ящички с мазями, облатками, точными весами и хирургическими ножами и зажимами и в нижнем правом, в круглой ячейке, обнаружил искомое: плоскую золотую коробочку, похожую на табакерку, с изображением кобры-змеи на крышке. Открыв коробочку, Петр аккуратно поколупал ногтем содержимое — целебный состав из истолченных мокриц и дождевых червей. Смесь подсохла, затянулась коричневой корочкой. Поплевав в коробочку, Петр тщательно размешал лекарство золотым совочком и, зачерпнув, проглотил не морщась. Это снадобье царь приготавливал собственноручно: лейб-медик Блюменфрост и слышать о нем не хотел, хотя и считал, что здоровью Петра оно не повредит, а в иных случаях даже может вызвать очистительную рвоту.

Заперев аптечку и убрав ключ в кошелек, Петр поднялся с кровати, потянулся всем телом, похрустел пальцами. Подошел к двери, прислушался: в гостиной говорили приглушенно, ничего нельзя было разобрать. Пинком ноги отворив дверь, царь вышел из спальни. На столе, на краю карты, был приготовлен для него бокал ренского и большой кусок вареной говядины на сером оловянном блюде. Петр глянул, двинул бокал:

— Водки с перцем... — И, взяв мясо двумя руками, вгрызся до кости, смачно. — Ну, что скажете, господа?

— Семеро беглых людей поймано, бито, трое умерли под кнутом...

— На Главный склад завезена мука, солонина, а также рыба сиг...

— Солнце рано садится, ночь длинная, жжем костры для освещения ночных работ...

— За последнюю неделю натуральной смертью умерло девяносто четыре солдата по причине кровавого поносу...

— Со вчерашнего дня вода поднялась на три деления, низовые землянки затопило, люди залезли на деревья и там сидели всю ночь до утра...

— Лесорубы работают вполсилы — не хватает топоров...

— Не хватает железных гвоздей...

— Не хватает лопат...

Петр жевал, слушал. Потом локтем отодвинул блюдо с обглоданной костью:

— Антон, останься... А вы идите, идите.

Неслышно шагая, Дивьер скользнул в сени, заворил там и запер двери за ушедшими. Вернувшись в гостиную, царя не застал.

— Иди сюда! — донесся голос Петра из спальни. — И водки захвати — озноб меня бьет.

Петр лежал на своей узкой железной кровати, укрывшись до подбородка меховым волчьим одеялом.

— Садись вон в ноги или на стул, — указал Петр. — Что у тебя за дело такое?

— Для строительства Санкт-Петербурга нужны люди, Ваше величество, — начал Дивьер, сев на краешек кровати. — Десятки, сотни тысяч людей. Голландский Амстердам строился столетиями, а Амстердам российский мы построим за годы.

— Построим, — сдерживая зубовную дрожь, кивнул головой Петр.

— На острове Святого Младенца, — продолжал Дивьер, — это наш пиратский остров — мы тоже строили крепость и порт. Везли людей со всего света и строили. Там не легче, чем здесь, было: жара страшная, сырость, змеи в болотах. Люди мрут — а мы других привозим, мрут — а мы других... Держим их в бараках, под замком, кормим, конечно, чем есть. Побудка в пять утра, отбой в девять вечера. Кто не работает или плохо работает — тот не ест, ничего не получает. Так построили город.

Петр слушал внимательно, пощипывал ус, выпростав руку из-под волчьего одеяла.

— Нам трудней было, чем вам, Ваше величество, — продолжал Дивьер после паузы. — Нам людей где было взять? Кто в абордажном бою уцелеет, да при случае негров везли из Африки. А у вас людей — миллионы, и все под рукой. Вот если...

— Ну! — поторопил царь. — Дальше!

— Вот если, скажем, с каждого десятого двора взять по человечку, доставить сюда! Я примерный подсчет сделал: к весне верфь сможем заложить, к

концу года закончим. Склады каменные — тут недалеко камень можно прямо из горы резать, гранит. Улицы тоже камнем замостим, чтоб ни грязи, ничего. Мосты построим, дворцы... Я подсчитал — строительство обойдется в копейки, материал — камни, лес — они же будут поставлять, людишки ваши. А им что надо, людишкам? Нары, да черпак похлебки, да барак на пятьсот душ, да замок на тот барак. Ваше величество, наемных людей мы сюда все равно не загоним, ни за деньги, никак! Жалко, конечно — каждый четвертый, по среднему счету, не вытянет — но другого ничего не придумаешь: города на костях стоят.

Петр отпахнул одеяло, встал, налил себе водки. Залпом выпив и утерев рот рукавом, спросил:

— Сколько, ты думаешь, сюда надобно людей завести?

— Для начала тысяч сто, — сказал Дивьер. — Беря в расчет, что в дороге без мора да побегов не обойтись.

— И к концу года, ты говоришь, будет верфь? — Петр, подойдя близко, смотрел Дивьеру в переносицу.

— Да, — сказал Дивьер, — и склады. Если с весны начнем...

— Что ж, вольность английская тут у нас не к месту, как к стене горох, — не отводя взгляда, сказал Петр. — Если я тебе все это дело в руки отдам, что тебе понадобится, чтоб весной начать?

— Разрешите строить бараки, Ваше величество, — сказал Дивьер. — Каждый барак — пятьсот душ. Десять барачков — лагерь. И дело пойдет!

Дело пошло. В ноябре заложили бараки, в марте — каменоломню, в мае — верфь и склады, в июне — тор-

говые ряды и дворец генерал-губернатора Меншикова. В январе ушло в землю девять тысяч человек, а в апреле, по раннему солнышку — только семь с половиной. Человек — не собака, ко всему привыкает... Зато в июле, в разгар работ, к дизентерии прибавилась болотная лихорадка, и в ямы было сброшено круглых десять тысяч.

В июле же, в сотне шагов от домика царя, сложили из тесовых бревен избушку для шута Лакосты. Дивьер приезжал, смотрел: хорошо ли подогнаты швы, удобны ли комнатки. Строители, завидев Дивьера, сплевывали тайком через левое плечо и осеняли себя крестным знаменем: "Нечистая сила! Пронеси, Господи!"

Лакоста с девочкой перебрался в Санкт-Петербург в конце июля. В первый же вечер Дивьер пришел к нему в гости, неся подмышкой конька-горбунка, вырезанного из дерева умельцем Жамкиным из восьмого барака.

Девочке шел шестой год. Хрупкая, с грустными черными глазами и нежным круглым подбородком, она была похожа лицом на отца.

— Держи, — сказал Дивьер, протягивая конька, — хорошая девочка. Как тебя зовут?

— Маша, — сказала девочка.

— Ее ведь иначе как-то звали, а? — спросил Дивьер, обернувшись к Лакосте.

— Да, Ривкой, — улыбаясь, сказал Лакоста. — Но это имя для русских людей звучит, как какая-то козья кличка, а я не хочу портить ребенку жизнь.

— Это родовое имя — Ривка? — как бы вскользь спросил Дивьер.

— Да, — покачал головой Лакоста. — Так звали мою покойную мать... Но что поделаешь!

Потрескивая, горели свечи, девочка играла с коньком. Хозяин и гость долго, молча глядели друг на друга.

— Я так рад, что ты приехал! — сказал, наконец, Дивьер и тихонько шлепнул Лакосту ладонью по колену. — Я тут работаю, как вол, с утра до ночи — и совсем один, совсем один... Теперь нас, хотя бы, двое.

— Шафиров приедет на той неделе, — сказал Лакоста. — Он порядочный человек и, все-таки, свой.

— Шафиров приезжает и уезжает, — сказал Дивьер. — Но и он сюда переедет, в конце концов. Все сюда переедут.

— Да, так хочет царь, — кивнул Лакоста. — Знаешь, Антуан, он недавно позвал меня, и мы весь вечер говорили о Боге. Это, как ты понимаешь, несколько выходит за рамки моих служебных обязанностей... Так вот, вдруг он говорит: "Антон — молодец, пошло дело в Санкт-Петербурге. Только вот людей гробит без счета. По-божески ли это? Или ваш Бог разрешает?"... О тебе вся Москва говорит.

— Что я — злодей, — с кривой улыбкой продолжил Дивьер. — Я знаю... Но я служу царю Петру, и царь Петр хочет построить город. Вот я и строю.

— Но эти тысячи людей, — словно обороняясь от смерти, поднял руки Лакоста. — У них ведь семьи, дети, может быть... — Он коротко, беспокойно взглянул на дочь.

— Через сто лет потомки будут славить царя Петра за этот город, — сказал Дивьер. — Об этих тысячах никто не вспомнит, никому до них не будет дела. Так устроена эта страна. Да, пожалуй, и не только эта.

— Как ты, должно быть, ненавидишь эту страну!.. — прошептал Лакоста.

— Ну, нет! — с живостью отозвался Дивьер. — Поверь мне, нисколько! Она мне просто чужая, совершенно чужая, с самого первого дня. И люди — чужие, за исключением одного, может быть, человека. Я здесь служу, и это все. Если б мне не подходила служба, я бы собрался и уехал в другую страну.

— А куда? — спросил Лакоста.

— Ну, не знаю... — сказал Дивьер. — Нет, в сущности, у меня такой страны, где кругом все были бы свои — как ты, как даже Шафиров. Конечно, ты понимаешь, что вас я не стал бы селить в бараки по пятьсот человек только потому, что царь Петр хочет построить город... Впрочем, есть один такой островок в мире, где я себя чувствовал своим среди своих, хотя я там был единственный еврей... Значит, клянут меня в Москве?

— Клянут, Антуан, — подтвердил Лакоста. — Еще как клянут.

— Ну, ничего, — сказал Дивьер. — Царю это даже хорошо: чужака клянут, жида, а он сам, вроде бы, ни при чем... А я, знаешь ли, согласен, чтоб на мою голову все шишки сыпались: это, как ты говоришь, входит в круг моих служебных обязанностей, мне за это деньги платят. И за это — тоже... Я тебе тут кое-как обставил домик: стол, кровати, сундук вот для твоих книжек.

— Я тебе так благодарен, — сказал Лакоста. — Там, в Москве, мне тоже было совсем одиноко... Ты прав: они нам, все-таки, совсем чужие.

— А я, знаешь, хочу тебя попросить о маленькой услуге, — наморщив лоб, сказал Дивьер. — Мне нужно поговорить с одним человеком, с глазу на глаз, хорошо бы завтра после обеда. Город крохотный, сам по-



нимаешь, все видно... А ты бы посидел у меня часика два... Так как?

— Ну, разумеется, — понимающе кивнул Лакоста. — Как мужчина мужчине.

— А как ты устраиваешься с этим делом? — понизив голос, спросил Дивьер.

Оглянувшись на ребенка, Лакоста приблизил губы к уху Дивьера:

— Я хожу к проституткам. Так спокойней и, к тому же, никого не надо ни о чем просить.

Анна пришла тайком, в дырявой телогрее с чужого плеча, в простом лиловом платке, накинутом на убранную фонтанжами и корнетами голову. На плече у нее, как велел Дивьер, покачивалось коромысло с ведрами: вроде бы пошла девка по воду.

— Ой, Антоша! — с порога зачастила Анна. — Ты только б знал, только бы знал! Еле вырвалась со всем этим машкерадом! Телогрею у Фроськи взяла, коромысло — в сенях... Александр Данилыч глаз с меня не спускает, подозревает. Он на Котлин уехал, а я сюда, к тебе.

Дивьер, слушая, снял с Анны вонючую телогрею и платок и усадил ее на кровать: сидеть больше было не на чем, стулья он предусмотрительно перенес в другую комнату. Сидя рядом с девушкой, тесно, он медленно поглаживал тонкими пальцами ее белую пухлую щеку, от виска мимо губ к подбородку.

— Ой, Антоша! — наклоня голову навстречу смуглым, ищущим пальцам, скороговоркой продолжала Анна. — Ты ведь не знаешь, ничего не знаешь совсем — а Александр Данилыч задумал меня отдать за Шереметева племянника Митьку: партия, говорит, блестящая и для фамилии нашей очень подходит. — Глаза ее

вдруг, разом налились слезами, она обхватила Дивьера тяжелыми руками, прижалась крепко, крепче некуда — не отлепить, только отрубить. — Пойдем к царю в ноги упадем, Антоша! Он тебя любит, он позволит...

— Брата твоего он больше любит, — сказал Дивьер. — Когда он это решил, брат-то твой?

— Да на той неделе, — всхлипнула Анна. — Он и людей уже послал в Москву, и сам собирается... Ой, что делать-то будем, что будем делать?

— Ну, не плачь, — Дивьер слизнул слезу с Анниной щеки, а рукой все поглаживал — затылок, шею. — Не плачь, слышишь? Он — свое, а мы свое. Меня за так тоже не проглотить, я костлявый... Ты за меня пойдешь, я тебя спрашиваю? Это мне важно знать.

— Что ж ты спрашиваешь, Антоша, голубчик! — она разомкнула, развела руки. — Да за кого ж я еще пойду? За Митьку что ли Шереметева? Да я лучше в монастырь, в реку кинусь! Да он как жаба, Митька этот Шереметев, хуже жабы! Давай сбежим куда-нибудь на край земли, Антоша!

— Не надо никуда бежать, — твердо сказал Дивьер. — Мы здесь все сделаем, что надо.

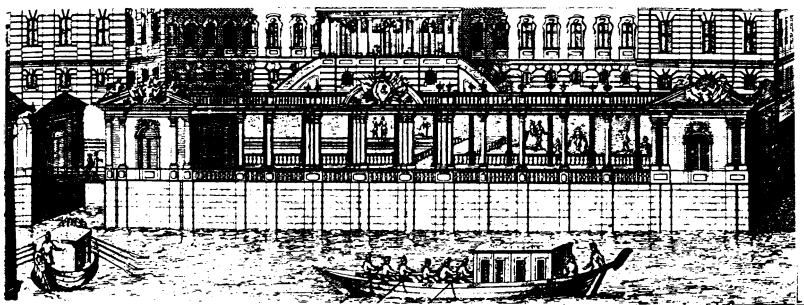
— И в церковь пойдем? — с надеждой, как о далеком чуде, спросила Анна.

— Пойдем, пойдем, — покривив лицо, проворчал Дивьер. — Хоть в церковь, хоть к черту в пасть — какая разница!.. Теперь ты меня послушай хорошо: у нас времени мало остается, надо спешить. Бежать нам некуда — поймают, убьют меня. Мы с тобой ляжем — здесь, сейчас. Тогда от позора отдадут тебя мне.

— Ой, Антоша, что ты такое говоришь! — Анна отстранилась на миг, потом прижалась, еще тесней. — Ведь меня Александр Данилыч прибьет! Да ведь и стыд

какой, грех, как же можно! Это просто потому что ты ничего тут у нас не знаешь, ты же человек иностранный. Лучше поцелуй меня, Аньку глупую, и пойдём упадем в ножки царю Петру Алексеичу. Нет-нет, что ты, сюда нельзя, лучше вот сюда поцелуй, Антоша, голубчик, и руку-то, руку убери, ручку-то свою убери повыше, а то я не знаю чего сделаю, а нельзя, нельзя, прибьет меня Александр Данилыч, Алексашка противный. Поцелуй меня, поцелуй еще! Ой, ручки-то у тебя какие холодные, погрей ручки-то вот здесь, об Аньку твою, об дурищу. Что ж ты делаешь, Антоша, ой, сил моих нет, ведь порвешь на мне все, бешеный какой! Нет, Антоша, нет, нельзя, грех это, как мы потом людям-то... Нет, нет, отпусти, любимый мой, я ведь и так вся твоя! Ой, больно, мамочка родная!.. Ой, как хорошо-то, Господи...

Конечно, хорошо.



## 6. ТУРНИР ШУТОВ. 1709

**Д**ивьер опаздывал. С утра к Мытному двору не подвезли ни говяжьего сала для смазки, ни цепей от вольных кузнецов; створы подъемного моста через Мойку, уже собранные, лежали в береговой грязи, как мертвые тела, строительство застряло, и Дивьер опаздывал к Лакосте на урок. Отдавая точности преимущество перед немногими другими человеческими добродетелями, Дивьер, покусывая сухие губы, слонялся между вынужденно бездельничавшими работниками из семнадцатого барака и поглядывал то на перевалившее уже зенит солнце, то на золотые круглые часы — подарок царя по случаю Полтавской победы над шведами. Нерадивые вольные кузнецы более всего выводили его из себя: сиди они в том же семнадцатом бараке — цепи давно были бы на месте.

Помощника своего, Василия Туволкова, Дивьер отправил к Анне и к Лакосте — передать, что задерживается и ко времени не поспеет. Анна, беременная вторым ребенком, быстро переняла по податливости характера мужнины привычки и сердечно це-

нила такие проявления заботы, как присылку Васьки Туволоква с предупреждением о задержке. Лакосту следовало предупредить тем более: завтрашний турнир скреб ему душу весь последний месяц, да и у Дивьера было беспокойно на душе. Где это видано, чтобы придворный шут подставлял бока под кнут! Какие, действительно, варварские шутки! Сегодня следовало заниматься два полных часа, ответственно — и вот из-за этих вольных кузнецов весь дневной план пошел насмарку...

После возвращения Васьки — "Госпожа ждет! Шут ждет!" — Дивьер, в последний раз взглянув на солнце и на часы, пришел к выводу, что ждать цепей и сала сегодня уже не приходится. Васька пускай ждет Туволков и людей не отпускает: к вечеру, может, все-таки подвезут.

Выбравшись на пригорок посуше, Дивьер обтряс грязь с ботфорт и зашагал к домику Лакосты. По дороге он заглянул в просторный светлый павильон, сбитый специально для завтрашнего турнира. Там уже все было готово: помост для Председателя всепьянейшего собора, скамьи и столы для гостей, сцена для участников. Помост князь-папы был убран кистями бузины, а сцена — свежим сеном, подсолнухами и ромашками. Заднюю стенку сцены художник Крюгер расписал единорогами, волшебными птицами и лесными деревьями. На левой боковой стенке был изображен шведский король Карл XII в шутовском наряде, верхом на козе, на правой — царь Петр Алексеевич в железных латах и на коне.

Лакосту Дивьер застал в состоянии возбужденнейшем: он то расхаживал из угла в угол комнаты, то вдруг садился, то вскакивал и, размахивая руками, сбивчиво твердил:

— Еврейская судьба... если бы не Ривка... я его заколю...

— Заколоть нельзя! — мягко, как больному человеку объяснил Дивьер. — Можно только легко ранить, а лучше всего просто разрубить кнут... Ну, давай начинать!

Откинув крышку сундука, Лакоста достал оттуда два морских абордажных палаша и один из них протянул Дивьеру. Тот принял тяжелое оружие с приятной легкостью.

— Держи руку чуть согнутой в локте! — указывал Дивьер, отбиваясь от наступающего Лакосты. — Иди плечом вперед, не открывай грудь!

Неуклюжий на первый взгляд Лакоста двигался с удивительным проворством; его поджарое, сухощавое тело подчинялось неудержимой логике атаки. Маневрируя и защищаясь, Дивьер похмыкивал удовлетворенно. Доски пола гремели. Из соседней комнаты, через порог, выглядывала, прижав кулачки к круглому белому подбородку, девочка Маша-Ривка. Она наблюдала за происходящим увлеченно и без робости.

— Неплохо! — оценил Дивьер, опуская палаш. — Но тебе не следует слишком увлекаться... Отдохнем немного!

Они прошли в соседнюю комнату и сели к столу, и Маша-Ривка поставила перед ними жбан брусничного кваса.

— Дядя Антон, — сказала девочка, — а папочка вас чуть не убил, я сама видела. Он завтра убьет этого дикого русского, ведь правда?

— Т-с-с! — Лакоста поднес к губам палец. — "Дикий русский" — так не надо говорить даже в шутку.

— Но ты сам говорил, что он дикий! — возразила Маша-Ривка.

— Забудь об этом, хорошая девочка, — сказал Дивьер. — Дикий он или ручной — это его страна, а мы все здесь гости. Думать о нем мы можем все, что угодно, но говорить об этом вслух не рекомендуется для нашей же пользы. Ты должна это понять, хорошая девочка.

— Вся эта завтрашняя затея — просто сумасшествие! — потирая лоб большим пальцем, сказал Лакоста. — Это какое-то гладиаторство! В наши дни! И что тут смешного?

— В наши дни... — чуть наклонил голову Дивьер. — А что за разница между нашими днями и Древним Римом? Никакой! Те же господа, те же слуги. Те же цели. То же оружие.

— Да, да, — согласно прижмурившись, сказал Лакоста. — Ничего, в сущности, не меняется. И через сто лет будет то же самое, и через двести. Ну, так появится другой царь, и при нем будет другой еврей для битвы.

— Я думаю, раньше было лучше, — негромко, медленно сказал Дивьер. — Так же подличали, так же убивали — но хотя бы не болтали о всеобщем народном счастье и прогрессе.

— Болтали, болтали! — с жаром возразил Лакоста. — Быть того не может, чтоб когда-нибудь об этом не болтали! Это — наследственная болезнь, которая передается из поколения в поколение. И каждое поколение уверено, что именно оно преуспело в этой болтовне больше других. А почему? Да потому только, что сталь его оружия, — он шлепнул ладонью по клинку палаша, — чуть крепче, чем пятьдесят лет назад.

— Старое доброе время, — проворчал Дивьер, — старое доброе время... Когда люди так говорят, у них становится теплей на душе.

— Потому что будущее, — покивал головой Лакоста.

ста, — это пропасть, бездна, это — ничего, и в этом ничего ждет тебя смерть — завтра или через год. А старое доброе время — это прошлое, откуда ты кое-как выкарабкался и добрался до сегодняшнего дня.

— Если ты скажешь такое царю, — Дивьер машинально покосился на дверь, — он тебе отрубит голову. Его Бог — это Завтра. Ну, и Сегодня.

— Но я ему говорил! — живо воскликнул Лакоста.

— И что же? — спросил Дивьер с интересом.

— Он вздыхал, — сказал Лакоста. — И сопел. Он умней, чем думают. Он сказал, что будущее — это прошлое, отраженное в увеличительном зеркале.

— Это он сказал? — Дивьер покосился подозрительно. — Это, наверно, ты ему так сказал.

— Ну, может быть, — согласился Лакоста. — Он, во всяком случае, согласился.

— Одного я не могу понять, — сказал Дивьер. — Зачем царю понадобилось подводить тебя под кнут?

— Для эксперимента, — грустно усмехнулся Лакоста. — Он хочет посмотреть, какая кровь у шута Лакосты — красная, черная?.. А ведь он меня почти любит, я в этом уверен.

— Ну, давай, — Дивьер, поднявшись, взял со стола палаш — Давай продолжать.

Петр явился в павильон за час до начала турнира: ознакомиться, проверить, исправить. Исправлять, к удовольствию царя, оказалось нечего; он лишь велел разгрести сено с середины сцены и собственноручно пририсовал сидящему верхом на козе Карлу забавные усы. обстоятельно объяснив доставленному бегом художнику Крюгеру необходимость забавных усов для общего понимания картины, царь сел играть в шахматы с Вытаци. Шут-кнутмейстер принял вчера



на грудь чрезмерно, поэтому, боясь опоздать на турнир, заночевал в углу Павильона, на сене. Шутовская его одежда, надетая с вечера, была несколько измята и запятнана, но выглядела, все же, весьма празднично: желтые шелковые порты в красную полосу, красная кружевная рубашка с синими рукавами и островерхий бирюзовый колпак с заграничным колокольчиком, коровьим. Более всего на свете Вытащи хотелось сейчас похмелиться, а вовсе не двигать хрупкие фигуры по клетчатой доске. Нервно поигрывая конскими ляжками, обтянутыми полосатым шелком, Вытащи делал одну ошибку за другой и с нетерпением ждал проигрыша.

— Если будешь так же стараться на турнире, — ворота нос от водочного перегара, сказал Петр, — проиграешь не короля, а собственную спину. — И добавил назидательно: — Пить надо для здоровья и удовольствия, а не свинства ради.

— Да я... — дыша в рукав, просипел Вытащи. — Да мне... Да тому жиду Лакосте я все зебры переломаяю...

— Запрещаю! — отверг Петр. — Не для казни турнир, а для смеха. За каждое Лакостово ребро два твоих ломаю... Офицер так не ходит, дурья голова!

Вытащи сделалось не по себе. Работать кнутом ювелирно он не умел, а цареву угрозу следовало принимать всерьез.

Приглашенные гости понемногу прибывали и тихонько рассаживались в зале, в задних рядах, не желая мешать царю в его игре. Только князь-папа Никита Зотов, пьяный уже не первый день и не второй, своим появлением произвел шум: шедший в оглоблях его тележки верблюды ревели и плевался, подвязанные к спицам колес бубенчики звенели. Впрочем, не помешал царю и Зотов: Петр закончил партию

победой и, толкнув Вытащи кулаком в лоб, поднялся из-за доски.

Следом за музыкальной тележкой князь-папы шли, приплясывая и подзуживая друг друга, шуты: толстяк Шанский, тощий и сутулый Шаховской в дьяконовском парчовом стихаре и в картонной золотой митре, сухой Педрилий в римской тоге кирпичного цвета и с пучком розог в руке, сопливый дурак Абрамка под руку с гунявой дурочкой Глашкой. Кабысдох в старинной русской одежде — длинном кафтане, ферязи и высокой боярской шапке — путался под ногами у приплясывающих шутов, щипался и плевался, подражая верблюду князь-папы. Согласно общему плану парада-алле, шел в хвосте процессии и Лакоста, одетый в черную длиннополую капоту, с ермолкой на голове. Редкое еще в то время еврейское традиционное платье вызвало оживление и смех в публике. Смеялся, закидывая голову, и Петр: это была его режиссерская удача, это он настоял на том, чтобы Лакоста явился в этом нелепом жидовском балахоне. Лакоста отнекивался и даже всплакнул, но царь пригрозил шуту увольнением и отправкой обратно в Гамбург: для общего успеха турнира надлежало проявить твердость, и вот теперь Петр по реакции публики видел, что оказался прав. И эта маленькая правота была приятна царю.

Дудошники засвиристели в свои дудки, цимбалисты ударили по струнам. Князь-папа Никита Зотов, взлезши на помост, тяжело оборотился к гостям и, вцепившись в перильца, чтобы не упасть, прокашлялся.

— Данною мне властью, — сказал князь-папа, — властью верхнею, нижней и боковой, властью вязать и разрешать, казнить и миловать, я открываю Санкт-

Петербургский шутейский турнир. Я, повелитель всех шутов и дураков, председатель Всепьянейшего собора, принимаю вот этого, — он, не оборачиваясь, указал рукой на левую боковину сцены — на шутейного Карла XII, — в младшие члены нашего пьяного кумпанства. После Полтавы он все плачет да рыдает, вот мы его и развеселим. Слава полтавскому победителю, нашему государю Петру Алексеичу!

Публика присоединилась с восторгом вполне искренним. Всякая победа стоит принесенных жертв. Только побежденные плачут по убитым.

Выслушав со строгим лицом славословие, Зотов опустил в кресло и через перильца шепнул Вытащи: — Тащи-ка что-нибудь горло прополоскать!

Наступил черед шутовского представления.

Первыми на сцену поднялись дурак Абрамка с дурочкой Глашкой. Притопывая лаптями, они запели дурными голосами, в очередь:

У моей милашечки, —

завел Абрамка, —

Аккуратненький носок:  
Девять курочек усядется,  
Десятой петушок.

Ох-ох, не дай Бог, —

отвечала гунявая Глашка, —

И с солдатам знатца,  
Он с колючим усам  
Лезет цоловатца.

Ты сударушка моя, —

продолжал, задрав рубаху, Абрамка, —

Чертиха горбоносая;

Ты оставила меня  
Без рубашки босова.

Как мне дурочке хрешенай, —

завьла Глашка, —

Захотелось молока.  
Я полезла под корову,  
А попала под быка!

Допев, дурочка раззявилась и подмигнула Абрамке, показывая тем, что он, Абрамка, и есть тот самый бык. Потом, не говоря худого слова, она засучила рукава и кинулась на своего напарника. Под истошный хохот публики они покатались по полу, колотя друг друга руками и ногами. Вскочив на сцену, Кабысдох вертелся вокруг них, норовя задрать повыше дурочкину юбку. Дурочка визжала, отбрыкивалась.

Лакоста наблюдал за проделками шутов с большим безразличием. Себя он считал шутом поневоле и относился к своему положению при петровом дворе с иронической усмешкой: служба есть служба. Давно изучив вкусы царя и так до конца их и не поняв — Петр бывал то буен до разнузданности, то замкнут и задумчив до кротости — Лакоста стремился лишь к одному: чтоб его коллеги во главе с Кабысдохом оставили его в покое. Следя за дурацкой потасовкой на сцене, он раздумывал над тем, как поведет себя, когда придет время его шутовства: что скажет, что сделает. Он думал над этим, отгораживаясь от следующего действия: от схватки с Вытащи.

Дураков сменил на сцене Педрилий в паре с Шаховским. Не вслушиваясь в то, что говорил Шаховской, Лакоста следил за его лицом, за гримасами его лица: за высокомерным взглядом умных и злых глаз, за движением змеиных губ над младенчески голыми дес-

нами. Тучный Педрилий со своими розгами выглядел добродушным дядюшкой рядом со старым мальчиком — Шаховским.

— Самый грустный шут шутейского цеха, — объявил князь-папа со своего помоста и потрянул кожаной погремушкой с высушенными гороховыми зернами внутри, — гамбургский жид Лакоста!

Подобрав полы капоты, Лакоста медленно поднялся на сцену и поглядел в зал. Перед ним помещалось на лавках сотни полторы людей с застывшими на лицах довольными улыбками, ожидающих от него, шута, забавных ужимок или грубых, пошлых песен. Полторы сотни мутно белеющих лиц. Одно огромное, белое лицо, от стены до стены, с напыленной улыбкой. Лучше всего было бы спеть ему что-нибудь — именно потому, что пение получилось бы ужасное, отвратительное. Но ведь это как раз то, чего от него, Лакосты, ждет это застывшее мясное лицо — ведь шут не может, не должен петь хорошо и красиво; и тогда затрясутся щеки, запрыгает подбородок и глаза нальются красными и голубыми слезами удовольствия.

— Много-много лет тому назад, — раскачиваясь, как на молитве, сказал Лакоста, — в пустынной стране Марор текла черная речка Самбатион. Ничего не росло по берегам этой речки: ни куста, ни дерева, и никто не приближался к черной воде: ни змей, ни человек, и только голуби летали над волнами. И двое влюбленных были тут, разделенные водным пространством: Абрамка и Глашка.

Лицо задвигалось, зашевелилось, ощупало глазами дурака и дурочку. Сидение на камнях влюбленных шутов, разделенных рекою, представлялось невысказанным, не укладывалось в голове; и поэтому в па-

வில்IONE раздался смех, и Лицо, в предвкушении дальнейшей нелепицы, задвигалось и загрохотало лавками по полу. Лакоста прислушался удовлетворенно: ему послышался грохот камней, перекаत्याющихся по каменному дну черной речки Самбатион.

— Шесть дней в неделю, — продолжал Лакоста, — Самбатион бушевал и выбрасывал камни, как пушечные ядра. Нечего было и думать перейти его или переплыть, и Абрамка с Глашкой даже не могли обменяться словом любви — такой шум стоял над рекой. Они только глядели друг на друга через реку, и в глазах у них был мед и мирро. Они ждали субботы — Святого дня, когда отдых положен всему существу, когда успокоится Самбатион и улягутся его волны, и камни погрузятся на дно. И тогда можно будет, наконец, переправиться... — Лакоста остановился, подождал немного. Лицо глядело с любопытством: что ж дальше будет с дураками? — С наступлением субботы река успокаивалась, и ее поверхность начинала блестеть, как кожа и как стекло. И Абрамка со своей стороны, а Глашка со своей подходили к воде с блаженными улыбками — и тут вспоминали одновременно, что запрещено в субботу работать, что нельзя тревожить субботний отдых реки. Тогда они хотели послать друг другу привет с голубем — но ведь и голуби не летают в субботу.

— Это еще почему? — недовольно и недоверчиво спросил со своего помоста князь-папа Зотов. Ему хотелось послушать, как Абрамка переплывет речку, обхватит Глашку и как там у них это все получится.

— Это такой наш жидовский закон, — коротко объяснил Лакоста.

— Нынче суббота, — возразил Зотов, — а ты, небось, по лужам сюда пришлепал и работу свою работаешь.

— Я царев дурак, — оборотившись к Петру, поклонился Лакоста. — А цареву дураку закон не писан.

Петр поманил Лакосту, притянул за уши, звонко поцеловал в щеки.

— История назидательная, — сказал Петр. — Всякий человек должен сам понимать, что это за зверь такой — н е л ь з я . От этого государю и отечеству большая вышла бы польза.

Дивьер, сидя в заднем ряду, наблюдал и за сценой, и за залом. Он видел, как царь подозвал и поцеловал Лакосту, и ему вдруг представилось, что Петр отменит бессмысленную и жестокую схватку с Вытащи, освободит своего грустного шута от этой кровавой потехи. Лакоста, нахохлившись, сидел по левую руку от царя и, казалось, тоже ждал его освободительного слова. Тем временем Кабысдох на сцене изображал представителей животного царства: осла с чрезвычайным детородным органом, кошку и петрову любимую собачку Лизетку. Карлу сменили борцы: дурак Абрамка, мужик крепенький, состязался с Педрилием, обрядившимся в медвежью шкуру. Следующими в списке Зотова значились Лакоста с Вытащи.

— А теперь, — тряся погремушкой, сообщил князь-папа, — ну-ка, поглядим, выстоит ли жидовское остроумие против русской силушки и смекалки!

Назвать смекалистым квадратного Вытащи в полосатых штанах нельзя было даже с большой натяжкой. Придерживая перекинутый через плечо кнут правой рукой, он топтался по сцене и угрюмо поглядывал на коллегу. Лакоста стоял у левой боковины, Карл XII глядел через его плечо со своей козы. В ожидании чужой боли и крови публика притихла настороженно.

Быстрым мягким движением Лакоста скинул мешковатую капоту, и Петр недоуменно поднял брови:

это не было предусмотрено и определено планом турнира. Под капотой оказалось строгое немецкое платье серого сукна, ловко сидящее. В руках Лакоста держал прямой и широкий абордажный палаш. Угрюмость во взгляде Вытащи сменилась задумчивостью, потом яростью.

— Оружие — по выбору, государь, — обернувшись к Петру, высоким голосом сказал Лакоста. — Кнут не по руке мне. Однако я, раб твой, кнут и спиной принять не могу. — Лакоста повернулся на каблучках, и публика тихо ахнула: на спине тесного лакостова кафтана изображен был царь Петр, в красках.

Петр моргал, хмурился. Потом, покачав головой, рассмеялся раскатисто — и Лицо на лавках поддержало неуверенно, подскулило.

— Ну, хитер! — сказал Петр. — Недаром ты жидом на свет родился... А, Вытащи?

Привычным кнутмейстерским скоком Вытащи прошелся по сцене, поглядел на лакостову спину — и обомлел. Ведь это что ж такое! Стегнешь жида, а попадешь в царя! Да ведь за такое шкуру спустят по самые пятки! А в голову метить — так ведь можно и промашку дать: голова — не спина, она куда меньше и поворотистей!.. Вытащи был неприятно озадачен и сопел.

Тем временем князь-папа подал знак начинать. Лакоста поднял палаш, а Вытащи без всякого подъема поскакал на свое место, к правой боковине. Там, сняв кнут с плеча, он со свистом раскрутил его над головой. От этого свиста Лакоста сделался заметно бледен.

Побежав на прямых ногах, Вытащи выдохнул свое "й-и-эх!" и, выбросив вперед руку, стегнул. Лакоста сделал выпад, но промахнулся: ремень, как живой,



промелькнул мимо клинка, хвост кнута обвился вокруг шеи и подбородка обороняющегося. Из разбитых губ Лакосты часто закапала кровь. В ожидании второго удара публика гомонила удовлетворенно.

Увидев кровь, успокоился и Вытащи. А что тут такого особенного? Ну, так по голове, по морде! Если один раз хорошо попасть — жид на ногах не устоит, свалится... Рассекая воздух, кнут засвистел уверенней, жестче. Его ременное черное тело стало как бы продолжением руки кнутмейстера. Сощурился правый глаз, Вытащи отвел руку с кнутом назад, за спину вверх, а потом резко послал ее вперед и вниз, уронил, и сам согнулся в пояс.

Когда кнут оказался над головой Лакосты, потянулся к его лицу, к глазам — он, как освобожденная пружина, прыгнул к Вытащи. Тяжелый палаш с маху отсек кнут от кнотовища, у самой его головки, украшенной почерневшими серебряными гвоздями. Тело кнута изменило направление своего движения и, медленно извиваясь в воздухе, полетело в зал и упало там среди гостей. Князь-папа Зотов, разинув рот, очумело проследил его полет со своего помоста.

А Лакоста, бешено размахивая палашом, наступал на Вытащи. Зал замер; Дивьер, прыгая через лавки и ноги, бежал к сцене. Подняв палаш двумя руками, Лакоста плашмя ударил им противника по голове. Сбив колпак с коровьим колокольчиком, клинок соскользнул и прорезал кнутмейстеру кожу на лбу. Вытащи затряс головой, крупные капли крови полетели далеко в стороны. А Лакоста, с окровавленным диким лицом, со вздувшимися губами, замалывался, намереваясь рубить уже не плашмя, рубить до костей, до смерти... Добежав, Дивьер обхватил его сзади и сжал так, что палаш выпал из его рук.

— Да я чего? — трудно шевеля белыми губами, повторял Вытащи. — Да ты чего? Да я чего?

— Жидовская хитрость верх взяла! — объявил Зотов, и Дивьер почувствовал, как напрягся, рванулся Лакоста, стараясь вырваться из его рук. Но Дивьер держал крепко.

Петр поднялся со своего места и в тишине взошел на сцену.

— Рана не опасная, — сказал царь, со знанием дела осмотрев лоб Вытащи, скрежетавшего зубами. — Не рана, а потешная царапина; пойдет на пользу... Нашего русака всегда бьют по глупости его: силен, да дурен. Хитрости военной нам следует учиться хоть бы и у жида. Отпусти-ка его, — указал он Дивьеру, — чего удержишь победителя!

Лакоста подошел, встал рядом с царем. Кровь еще не вернулась к его лицу.

— Ишь, ты! — добродушно-ворчливо продолжал Петр. — Хоть в генералы тебя производи — да ты ведь такой шутке, пожалуй, обидишься... По случаю Полтавской победы, — царь повысил голос, говорил торжественно, — и сегодняшней нашей баталии жалую моего шута Лакосту титулом короля Самоедского с прибавкой жалованья, а также необитаемым островом Соммера в вечное владение... А тебе, Вытащи, положена полтина на водку — на! И пропей ее вместе с победителем, чтоб зла не держать.

В кабаке пахло кислыми щами, луком и водкой. Лакоста и Вытащи сидели друг против друга за столом, низко согнувшись над кружками и встречаясь время от времени головами; голова Вытащи была перетянута холщевой тряпкой, на лакостовой макушке набекрень сидела ермолка. Выпито было много,

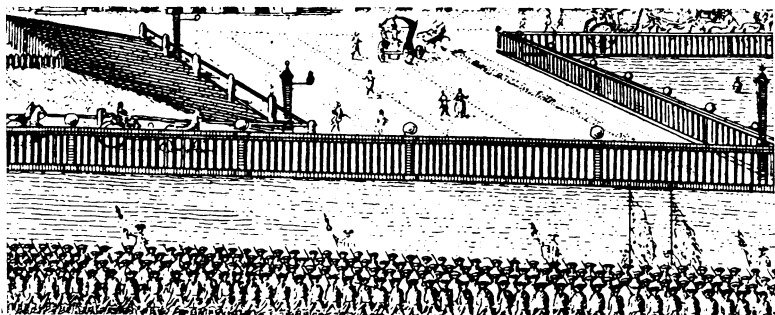
оба питуха были пьяны и настроены тепло и совершенно дружелюбно.

— Я чего? — в который уже раз повторял Вытащи, глядя на Лакосту с умилением. — Мне чего велят, я то и делаю. Я, думаешь, тебя лично хотел пытать? Да ни в жисть!

— Ну да, — подпирая подбородок рукою, мычал Лакоста. — Я и говорю... Чего велят... Если у меня дочка...

— Вот-те крест — ни в жисть! — заглядывая в глаза Лакосте, продолжал свое Вытащи. — И я тебе еще вот что скажу: ты хоть, конечно, и жид — но хороший парень. Давай за дружбу выпьем! И поцелуемся!

Одинокий человек Вытащи.



## 7. ПРУТСКАЯ КОНФУЗИЯ. 1711

**п**о сравнению с Полтавой предстоящая турецкая компания представлялась Петру не более, чем развлекательной прогулкой. Германизированным дивизиям Петра следовало сбить спесь с турецких орд, с татарских конных разбойников: сброд, ненавистная дремучая азиатчина. Раздавить, уничтожить! Выйдя к Северному морю, закрепиться навеки и на Южном! А там недолго и бусурманские минареты сшибить с собора Святой Софии в Царьграде.

Все это должно совершить пристойно, по-европейски — и весело. Фельдмаршал Шереметев надежен, да медлителен: а надо выйти к Дунаю прежде турок, не дать им переправиться. Волошский Кантемир и мултянский Бранкован — в руке, в кулаке: не вырвутся. Проку военного немного от этих господарчиков, но пример их хорош и полезен; ему последуют братья-славяне — болгары да сербы, восстанут против турок, оттянут вражеские силы, да и греки подымут голову. Перспективы блестящие, изумительные: весь европейский Юг пойдет с Россией, к России. И тогда уже неизбежны беспорядки в турецкой армии, бунт

против неразумного султана, сидящего на своих подушках. И присмиривший султан выдаст, выдаст проклятого шведского Карла, бросившего свои носилки под Полтавой и выскользнувшего змеей из русского кулака... Привоз пленного Карла XII в Санкт-Петербург можно будет обставить весьма красочно.

Как все это красиво и замечательно! И как радуется, веселится душа, устремляясь к таким радужным горизонтам! Немцы и голландцы — те, конечно, русского человека прилежнее и старательней. Но только наш брат — русский — способен так упоительно радоваться завтрашним свершениям. Только для русского неограниченного мечтателя журавль в небе куда лучше синицы в кулаке. Вот в этом и есть разгадка русской души, для немцев загадочной.

В последние дни перед отъездом в действующую армию Петр, спеша и почти задыхаясь от будоражающей спешки, успел сделать многое: заменил отжившую свое громоздкую боярскую думу компактным и послушным Сенатом, учредил налогово-фискальное ведомство, наделенное чрезвычайными полномочиями. Диких азиатов должно сокрушить современное налаженное государство — и это будет добрым примером для потомков. Это каких-нибудь пятнадцать лет схватка России с Турцией напоминала бы схватку двух степных волков, рвущих друг другу глотку. Нынче все произойдет по-другому: по-современному обученная и экипированная русская армия, вооруженная пушками, фузеями и тайным чудо-оружием — металлическими трехгранными ножами — раздавит неприятеля по всем законам передовой военной науки. Сколько приятных дел прибавится после победы, сколько веселых хлопот: сколачивание панславянского союза во главе с Россией, освоение новых южных владений,

укрепление черноморского побережья и строительство флота... В самый день отъезда, 6 марта, было объявлено о бракосочетании Петра Алексеевича с Екатериной Алексеевной. Свадьбу решено было справить после возвращения из победного похода.

Жизненные обстоятельства девицы Марты, вошедшей в русскую историю под именем императрицы Екатерины I, блестящи и дерзки. Среди "птенцов гнезда Петрова" она, пожалуй, столь же характерна, как Меншиков или Шафиров. Служанка мариенбургского пастора Глюка, она досталась в 1702 году в качестве живого трофея русскому унтер-офицеру, от которого была взята за милую внешность и приятность характера фельдмаршалом Шереметевым. Всесильный Меншиков забрал ее у пожилого фельдмаршала не без сопротивления, и не без сопротивления же — было, было в ней нечто, тесным обручем сжимавшее мужское сердце! — уступил ее царю Петру. С тех пор бывшая портомоя Марта сделалась гражданской женой Петра, родив ему до объявленного 6 марта 1711 года брака двух дочерей — Анну и Елизавету. Женидьба на бывшей пленнице, перекочевавшей изпод унтер-офицерской телеги в царскую опочивальню, был изрядным ударом по ревнителям русской старины — сторонникам голубокровных государственных браков. Но они, похоже, к началу второго десятилетия XVIII века начали уже принимать решения и поступки своего самодержжного государя как неуправляемое стихийное бедствие. Критика в адрес неслыханного мезальянса если и была высказана, то оглядчивым шепотом, да и то в совершенной темноте.

Екатерине, отличавшейся завидным здоровьем и ровной веселостью нрава, не доставало лишь родovitости да прибереженного до срока серебряного

целомудрия. Однако Петра — первого и последнего здравомыслящего русского царя — эти невосполнимости ничуть не тревожили.

Оставив государство на Меншикова и Сенат, Петр с женой выехал на Юг, к армии. По дороге царь остановился в польском Ярославле — там его дождался незадачливый король Август с сенаторами. Все попытки склонить поляков к совместным действиям против турок не возымели успеха: сенаторы постановили строго придерживаться условий Карловицкого мира и никоим образом не вмешиваться в эту новую войну. Сопровождаемый малым конным корпусом генерала Ренна, царь оставил польский Ярославль без особого раздражения: он особенно и не рассчитывал на поляков, всецело погруженных в собственные несчастья. Не добившись согласия поляков, Петр, в сущности, снимал с себя большую часть ответственности за них в этой войне. Незадачливого Августа было по-приятельски жаль: приятное бремя победной славы и на сей раз минует его плечи. Формальная же сторона дела была прилично соблюдена: польские союзники объявили о своей ко всему готовности, и во главе их войска на всякий случай встал литовский великий гетман Поцей.

По дороге в Яворово и далее к волошской границе Петра догоняли приятные и обнадеживающие вести. Князь Голицын наголову разбил киевского воеводу — изменника — вторгшегося в Россию: пять тысяч мятежников убито, остальные рассеяны или взяты в плен. Господарь Димитрий Кантемир через своего посла грека Поликолу просил принять его, господаря, в царское подданство, что и сделано: просителю послан семнадцатистатейный диплом и нагрудный портретик, изображающий государя Петра Алексеевича, оправленный в золото с бриллиантами чистой

воды. С присоединением Кантемира сам собою разрешался продовольственный вопрос: государь поставит русской армии все необходимое для пропитания, устроит достаточный магазейн... И, хотя поход предстоял короткий, Петр велел забрать провиант, хоть и через разорение, в Буджацкой орде для другого магазейна, запасного.

Царская свита была составлена толково и продуманно: ни одного лишнего человека, только все самое необходимое. Даже карла Кабысдоха оставили в Санкт-Петербурге. Но, однако ж, не Полтава предстояла, можно было позаботиться и о приятном времяпровождении; и был захвачен шут Лакоста и острослов Феофан Прокопович, сразу по вступлении в Валахию занемогший, впрочем, кровавым поносом. Что же касается Екатерины Алексеевны, ее круг, кроме тесно приближенных дам и девок, должны были составить генеральские жены, отправившиеся с мужьями на войну, и их компаньонки.

12 июня Петр с Екатериной, с министрами, с казной и казначеями, с гвардейскими Преображенским и Семеновским полками торжественно прибыл на берег Днестра и соединился там с пехотными дивизиями Вейда, Алларта и князя Репнина. День спустя, после славно устроенного общевойскового смотра, царь созвал большой военный совет.

На этом совете выяснились досадные обстоятельства и мнения участников неприятно разделились. Несмотря на строгие инструкции, данные царем по поводу устройства магазейнов, и отправку специальных комиссаров в Венгрию за быками, а на Украину за баранами и мукой, русская армия оказалась без продовольствия: съестных припасов не хватило бы и на неделю. Исходя из этого, генералы барон Алларт и



барон Денсберг, лейтенант-генералы барон Остен и Беркгольц советовали царю остановить продвижение и оставаться на берегу Днестра до выяснения замысла врага, о котором не было ни слуху, ни духу, и для отдыха войскам. Днестр, кроме того, являлся удобной дорогой для подвоза продовольствия, если оно сыщется. Наиболее же опасным предприятием, по мнению этих генералов, было бы углубление в неприятельские преддунайские степи: по сообщениям местных жителей, в мрачной этой степи негде взять ни воды, ни хлеба, а сам переход займет не менее пяти дней. Но и пересеча степные пространства, армия не найдет по ту сторону пропитания.

Великий канцлер граф Головкин, барон Шафиров и тайный советник Сава Рагузинский возражали вместе с генералами Ренном, Вейде, Брюсом и князьями Долгоруким и Репниным. По их мнению, не следовало с таким прекрасным войском ограничиваться защитой реки. Продовольствие, если оно иссякнет до крошки, можно всегда добыть силою оружия, да и съестные припасы турок после их разгрома достанутся победителю. Греческие области возмутятся и взбунтуются при вступлении русских войск в туретчину. Генерал-фельдмаршал Шереметев доносит из Ясс, что в степи можно кое-как прокормиться. И, наконец, турецкие силы будут полууничтожены уже только тем, что увидят победоносное войско Его величества посреди своих владений.

Выслушивая соображения своих министров и генералов, Петр усмехался не без горечи и душевно сожалел о том, что не дожил до этого дня сердечный друг Франц Лефорт — веселейший и беззаветнейший победитель турок при Азове, и что дерзейший Алексашка оставлен в Санкт-Петербурге... Однако, лучше было

искать пропитание в бою, чем в чистом поле. Надежда на богатую добычу насытит солдата слаще, чем черпак мясных щей.

Все было, как будто бы, ясно — и все же бледный холодный червячок присосался к сердцу, тянул кровь по капельке. Где проклятые турки? Где крымский хан? Где, в конце концов, Карл со своими недобитками?.. Петр вторично — правда, без особого нажима — предложил беременной, на седьмом месяце Екатерине оставить армию и отправиться со своими дамами в Польшу. Услышав в ответ мягкое и непреклонное, желанное "нет", Петр немного успокоился; на душе у него потеплело. Он вызвал к себе известного своим удалством и бесстрашием молодого генерала Шарикова и долго расспрашивал его о тамбовской соколиной охоте, и пил с ним.

Назавтра, на рассвете, вышли походным маршем в степь дивизии Алларта и Денсберга. День спустя отправился и царь с министрами, свитой, семеновцами и преображенцами и, маршируя безостановочно, переместился в авангард армии. Вид обычно зеленой в это время года степи был непригляден: тучи саранчи выжрали под корень траву и злаки, редкие жители-буджаки сбежали неизвестно куда, и только древние курганы, как черные знамена, реяли в диком горячем мареве. Тяжкая жара и безводье не прибавляли бодрости марширующему войску.

Выйдя, наконец, к Пруту, царь приказал на телегах собственного обоза и на лошадях свиты отправить бочки с водой погибающим от жажды солдатам, с хриплой песней шагавшим по степи. Вокруг бочек сделалась ликующая толкучка, и многие солдаты были задавлены своими товарищами; а иные умерли, опившись водой.

Соединение измотанных переходом дивизий Алларта и Денсберга с корпусом Шереметева произошло в лагере фельдмаршала, неподалеку от Ясс. Туда же явился Вейде со своей дивизией, а за ним следом артиллерия генерал-поручика Брюса и конница бригадира Моро-де-Бразе. Усталые насмерть люди с яростным криком, как в атаку, бросались в реку, а потом валились в прибрежную пахучую траву и засыпали надолго. Во сне они вскрикивали и корчились: быть может, им снилась безводная степь, а, быть может, хлеб или щи.

Обильное пролитие солдатской крови невысказанно было без обильных генеральских застолий: в ожидании Отбивного Часа генералы обменивались, за дружеским вином, боевыми шутками и назидательными анекдотами. В то время, как русские кушали водку и вино, турки, весьма вероятно, хлебали молочную рисовую кашу — но отнюдь не содержимое воеводских тарелок и стаканов определяло содержание их бесед, равно кровавых. Солдаты же обеих сторон были вполне равнодушны к бравой похвальбе и много спали перед смертью.

Поводом для буйного застолья в русском лагере послужила вторая годовщина со дня Полтавской победы над шведами. За палатками царского штаба был сооружен длинейший стол, с каждой стороны которого любопытный человек насчитал бы до ста десяти кувертов. Петр со своими министрами, генералами и почетными гостями явился к столу после торжественной обедни и парадной артиллерийской стрельбы. По правую руку от царя было приготовлено место для господаря Димитрия Кантемира, по левую сели, согласно предварительной договоренности, Великий канцлер граф Головкин и барон Ша-

фиров. Екатерина угощала армейских дам, оставивших ради такого случая своих детей на попечение нянек. Справа от царицы сидела дородная генеральша Алларт, слева — сухопарая и громкоголосая генерал-майорша Гинтер. Стол ломился от обилия мяс и рыб, нежный ветер доносил запах жареного до чутких солдатских ноздрей. Каждой шестерке гостей придано было по виночерпию — преображенскому или семеновскому капитану. Каждый виночерпий командовал тремя рослыми и красивыми солдатами для перемены стаканов и бутылок.

Царь то впадал в мрачную задумчивость, то вдруг становился необыкновенно оживлен. Следя за тем, как гости пьют и едят, он несколько раз, ударяя ладонью по столу и наводя почтительную тишину, повторял отрывисто: "Пьян да умен — два угодья в нем". К концу обеда, затянувшегося до одиннадцатого часа вечера, гости сидели тяжелые, осоловелые. Незадолго до конца прискакал адъютант князя Репнина с добрым известием: князь добыл четыре тысячи быков, восемь тысяч баранов и триста маленьких польских тележек ржаной муки. Петр тут же распределил провиант по полкам и дивизиям.

Назавтра участники обеда отлеживались в тенистых местах с головной болью, поправлялись огуречным рассолом и шепотом вспоминали печальную историю курляндского герцога, любезного молодого человека. Герцог женился этой весной на царевой племяннице, на свадьбе в меншиковском дворце крепко перебрал и, не похмелившись вовремя, скончался на руках у безутешной и весьма привлекательной молодой супруги. Огорчительная, но и забавная слегка история для тяжело похмельного человека: "Он умер, а я — нет".

А на следующее утро снова собралось застолье: праздновали день св. Петра — царевы именины. Именинник был взвинчен, дергал щекой и головой, ругал турецкого Великого визиря Мехметку за его трусость и нежелание объявиться. Потом, оставив гостей, ушел с шутом Лакостой в свой шатер. Гости, посидев еще с полчаса, тихо разошлись.

А неприятель тем временем подал о себе весть. Двадцать тысяч конных татар накинулись на передовой русский пикет — шестьсот всадников под началом подполковника Ропы — и растерзали его на виду у бригадира Шневищева, остолбеневшего от неожиданности и не сделавшего ни малейшей попытки вызволить избиваемых. Подполковник Роп попал в плен... Инцидент этот, однако, не был принят в серьезный расчет: случается, бывает. Да ведь это еще и не турки, а татарва. Да и всего-навсего шестьсот человек. "Потеря пикета только разозлит наших молодцов!" — заметил главнокомандующий Шереметев. Решено было переправляться через Прут, чтобы обмануть и опередить турок. Бусурмане, однако же, обманом не были застигнуты врасплох и, появляясь по обе стороны реки, тревожили окраины русской армии стрелами и дикими криками. Разведка поставляла разноречивые сведения: то ли турки близко, то ли далеко, то ли их сто тысяч, то ли двести. В любом случае получалось, что русские войска насчитывали немногим менее восьмидесяти тысяч человек, если считать по дню выхода в поход. Полковые командиры доносили, что с того дня основные потери в людях понесены по причине болезней и голода, а не из-за частых, но мимолетных неприятельских нападений. Прежде чем коварных турок, следовало победить голод, и раздраженный затянувшимся похо-

дом Петр отрядил генерала Ренна с пятнадцатитысячным отрядом в Центральную Валахию, на поиски провианта. Последний перед решающей схваткой смотр принес новые огорчения, над которыми уже не оставалось времени раздумывать: в рядах армии не насчитали и сорока семи тысяч бойцов. Солдаты остались лежать в степных ямах, в тыловых и прифронтовых лазаретах. Следовало либо срочно отступить, либо наступать безотлагательно. Ввиду полной неопределенности наступательного маршрута часть генералов склонялась к скорейшему отступлению. Петр мешкал, сердился и буйствовал и, в конце концов, отступление было отрезано: турки свалились на русских, как снег на голову.

Удар пришелся по кавалерийскому корпусу генерала Януса, отправленному царем для разрушения турецких мостов через Прут. По донесению разведки, мосты эти только-только начали наводить в тринадцати километрах от русского лагеря; Янус наткнулся на два уже законченных моста, по которым лавиной катилась конница, в четырех километрах от своего лагеря. Переправа, как видно, началась уже давно: турки возводили предмостные укрепления, их пехота в белых янычарских чалмах густо покрывала долину. К моменту обнаружения противника на этот берег успело переправиться не менее пятидесяти тысяч турок.

Скомандовав полуоборот арьергарду и флангам, Янус приказал отступить. Турки, не прерывая переправы, окружили русских вертящимся колесом своей конницы. Под огнем и стрелами, теряя людей и лошадей, Янус отходил. За восемь часов его корпус, стиснутый в кулак, прошел семьсот метров. В десять вечера турки ослабили нажим, и русские прибави-

ли шагу. Только на рассвете, к пяти часам, показались гренадеры генерала Денсберга, явившегося прикрыть янусово отступление. Отступавшие привели за собой к воротам своего лагеря почти всю турецкую армию. Поднятые по тревоге гвардейские полки приняли на себя первый, накатный турецкий удар. Не прекращая стрельбы, не давая противнику передислоцироваться и выйти из-под огня и стрел, турецкая армия продолжала группироваться вокруг русского лагеря, готовясь то ли к осаде, то ли к штурму. Русские, пользуясь тыловой прорехой в замыкающемся понемногу окружении, сделали попытку отступить — и попали из огня да в полымя: растянув левый фланг, турки завершили трехстороннее окружение, вплотную прижав царское войско к реке, служившей теперь ему естественным тылом. За рекой, стреляя из ружей и луков, скакали по холмам буджацкие татары и поляки киевского палатина. Несколько часов спустя к ним присоединились шведы.

По обе стороны реки готовились учинить расправу над русскими более двухсот тысяч вооруженных людей, усиленных ста шестьюдесятью артиллерийскими орудиями. Окруженным оставалось либо сдаться, либо умереть. Турки тоже располагали двумя возможностями: либо атаковать всеми силами, либо ждать, пока голод превратит русский лагерь в кладбище. Но если б русским и удалось вырваться из клещей, они, преследуемые по пятам турками, не сумели бы выйти живьем из безводных степей, на пять дней пути раскинувшихся между Прутом и Днестром.

Петр решил умереть в бою. Приказав своим генералам готовиться на другой день к атаке и прорыву, он закрылся в своем шатре и велел никого к себе не пускать.

Екатерина не желала смерти ни для себя, ни для Петра. Собственной волею созвала она военный совет в своем шатре, неподалеку от царского. Приглашены были довереннейшие генералы во главе с испытанным Шереметевым и министры: граф Головкин и барон Шафиров, лис хитрейший. В противовес гибели царя и армии царица, женщина рождения низкого и склада практического, намеревалась предложить туркам мир на любых условиях. Не позора важно было сейчас избежать, а смерти: государственный позор смываем, как грязь с портов, была бы портомоя искусна в своем деле. А мертвой рукой и соринку с рукава не сощелкнешь.

К Екатерине шли, проходя мимо Петрова шатра как мимо пустого места: царя как бы более не существовало. Царем была сейчас — царица, спокойная и ровная, уверенная то ли в себе, то ли в своей судьбе. А больше ни в чем и нельзя было быть уверенным — здесь, в пушечном грохоте, прорехи в котором закрывал, заливал бешеный рев подступающего неприятеля.

Первым явился Шафиров — в аккуратно вычищенном немецком платье, в высоком парике. Екатерина указала ему сесть, и он понуро опустил на стул на полпути от входа к хозяйскому месту.

— Сядьте поближе! — сказала Екатерина, с любопытством разглядывая этого толстого еврея, его большое лицо с выпуклыми, наглыми и умными глазами.

Коротко вздохнув и поджав губы, Шафиров пересел.

— Ведь вы, барон, дипломат, — сказала Екатерина с легким немецким акцентом. — Наш лучший русский дипломат... Кому ж, как не вам, вести с турками переговоры о немедленном мире? — Подойдя, положив пухлую белую руку на его плечо, она близко нагну-



лась к нему и добавила еле слышно: — Спасите царя, барон! Спасите Россию!

— Это вы отменный дипломат, Ваше величество! — скосив глаза на царицыну руку и тихонько покачивая головой, сказал Шафиров. — Иначе вы оценили бы мои скромные заслуги лишь по достоинству... Великий визирь захочет в обмен на мир Бог знает чего. — Отведя, наконец, взгляд от руки Екатерины, он вопросительно взглянул ей в лицо.

— Разумеется, разумеется... — медленно опустила веки Екатерина. — Нас устроит все, кроме капитуляции. Ведь едва ли они захотят Москву, как вы думаете?

— Карл — союзник султана, — сказал Шафиров и, вытянув губы трубочкой, сделал паузу. — Москву — нет, но Санкт-Петербург они могут потребовать, не говоря уже о южных приобретениях... Но, может быть, удастся что-нибудь выторговать.

— Кто может санкционировать такие уступки? — садясь на стул против Шафирова, уже по-деловому спросила Екатерина. — Главнокомандующий Шереметев — может?

— Только Его величество, — отрицательно повел головой Шафиров.

— Его величество несколько недомогает, — сложив руки на кругло торчащем животе, сказала царица. — Он, как вам известно, не желает никого видеть.

Шафиров чуть заметно пожал плечами и промолчал.

— Он, может быть, выслушал бы Меншикова, — продолжала Екатерина, — но Александр далеко... Вы, барон, должны попробовать.

— Его величество не станет меня слушать! — Шафиров поднял руки, как бы обороняясь от самой этой

идеи. — Тут нужен человек либо сугубо военный, либо... либо тот, который мог бы просто по-человечески успокоить государя, вывести его из состояния тяжелой, я бы сказал, задумчивости.

— Если вы имеете в виду меня, барон, то ваш план не годится, — ясно глядя на Шафирова, сказала царица. — Петр Алексеевич запретил мне навещать его. А если явится Шереметев, он его, пожалуй, зарубит: Его величество не владеет собой... Так что же?

— Я знаю, кто! — воскликнул Шафиров и в возбуждении поднялся на ноги. — Лакоста!

— Этот шут? — удивленно спросила Екатерина.

— Это довольно грустный шут, — сказал Шафиров, расхаживая по ковру. — С кем еще и говорить государю в такой час, как не с грустным шутком? Со священником?

— Но он... — неуверенно улыбнулась Екатерина. — Он...

— Я ему все разъясню, Ваше величество, если вы не возражаете! — с жаром предложил Шафиров. — Поверьте мне, это хорошая идея.

В шатер вошел генерал Алларт; раненая его рука висела на перевязи, цвет чисто выбритого лица был землист.

— Князь Репнин подставил под удар главный обоз, — сказал Алларт тусклым голосом, — две с половиной тысячи карет, колясок и телег взяты неприятелем. Мы остались без провианта и без пороха. Жена Роба с тремя детьми зарезана.

— Какой ужас! — передернула круглыми плечами Екатерина. — С детьми... А... ваша жена, генерал?

— Я не вожу жену в обозе, — сухо информировал Алларт. — Госпожа Алларт здесь, в моей карете.

Откинув полсть, через порожец шагнул с горестным вздохом Шереметев, за ним протиснулся угловатый Янус.

— Да, да, — сказал Шереметев, с жалостью глядя на Екатерину своими чистыми старческими глазками, — плохие новости. Через три часа наши пушки замолчат... Но мы успели, государыня, раздать нашим молодцам новое чудо-оружие — метательные ножи, по восемьсот штук на полк. — Поймав на себе скептический взгляд Януса, фельдмаршал криво ухмыльнулся и отошел в тень.

— Если у вас, господа, недостает смелости, — царица коротко, колко взглянула на Шереметева, — говорить о немедленном и безотлагательном мире как о единственной возможности сохранить армию — то вы вынуждаете меня сказать вам об этом. Барон Шафиров отправляется к визирю для переговоров.

— На каких условиях? — хрипло, в нос просил Шереметев.

— На тех условиях, какие санкционирует Его величество, — отрезала Екатерина. — Эти условия будут сохранены в совершенной тайне до подписания мира... Если вы, господа, можете предложить мне военное решение — прошу вас.

Генералы молчали, не глядя друг на друга. Граф Головкин, вошедший последним, на носках прошел мимо военных и сел на стул позади Шафирова.

— Сколько я понял, — сказал Головкин, дождавшись паузы, — решение о переговорах исходит от государя...

— Вы свободны, господа, — не ответила Екатерина. — Барон Шафиров, оставайтесь.

Когда за последним захлопнулась полсть, царица обессиленно опустила в кресло, откинулась на вы-

сокую спинку, уронила руки на подлокотники. Шафиров сидел против нее молча и не двигаясь.

— Трудно... — сказала Екатерина. — Как трудно это было...

— Вы держали себя исключительно, Ваше величество, — совсем не торжественно, по-домашнему сказал Шафиров. — Я просто диву давался.

— Это ведь только начало, — не изменяя позы, сказала Екатерина. — Ступайте, барон, к вашему шуту.

Бесшумно поднявшись, Шафиров поцеловал государыне руку и вышел.

Петр лежал лицом к стене на своей узкой и жесткой железной коечке — царственной игрушке почти всех европейских владык: некрасиво, стыдно разлеживаться коронованному солдату на пуховых перинах. На осторожные шаги он не повернулся, только спросил голосом глухим и слабым:

— Катя?

— Нет, Ваше величество, — последовал почтительный ответ. — Лакоста, шут.

Петр не повернулся, не выразил ни неудовольствия, ни радости — ничего. Опершись рукою о стол, Лакоста с грустью смотрел на круглый затылок царя в прямых спутанных волосах. Близ руки шута лежал бумажный лист, на котором корявым царским почерком было выведено: "Господа Сенат! Сим извещаю вас, что я со своим войском без вины или погрешности со стороны нашей, но единственно только по полученным ложным известиям, в четырехкраты сильнеею турецкой силою так окружен, что все пути к получению провианта пресечены, и что я, без особливья Божия помощи ничего иного предвидеть не могу, кроме совершенного поражения, или что я впаду в

турецкий плен. Если случится сие последнее, то вы не должны меня почитать своим государем и ничего не исполнять, что мною, хотя бы по собственному повелению, от вас было требуемо, покамест я сам не явлюся между вами в лице своем. Но если я погибну, и вы верные известия получите о моей смерти, то выберите между собою достойнейшего мне в наследники”.

Прошло несколько времени, пока Петр, не изменяя позы, снова подал голос:

— Ты все здесь? Ну, говори или ступай!

— Давным-давно это было, — рассеянно возя цареву завещание по столу, начал Лакоста, — может, тыщу лет назад, может, две, на пастушьем стойбище. Люди стойбища — мужчины и женщины — собрались как-то со скотом на большой базар, в ближний городок, желтый каменный городок, лежавший у подножья раскаленной солнцем горы. Полтора часа ходу было до этого городка, по пыльной узкой дороге, на которой и две телеги бы не разъехались... Все ушли, никого не осталось на стойбище, кроме младенчика-сосунка да местного безвредного дурака, которому поручили следить за младенчиком — чтоб он не кричал и не плакал, пока родители будут в городе, на большом базаре. А дурак был дурак добрый, он, действительно, каждому был готов оказать услугу — и, не успели пастухи с их скотом скрыться из виду, с жаром принялся за дело: баюкал ребенка, подкидывал его и ловил, бегал с ним рысью по шатру. А шатер был вот как этот, — Лакоста обвел взглядом царский шатер, а потом поглядел на затылок Петра, сопящего внимательно. — Дурак старался на славу, но что бы он ни делал — ребенок все кричал и плакал и никак не хотел угомониться. Тогда дурак, скрестив ноги,

уселся на хозяйскую подушку и, прижав к себе ребенка покрепче, стал поглаживать его по головушке. Чем сильнее он поглаживал — тем спокойней становился ребенок и неподвижней и, обнаружив это удивительное обстоятельство, дурак нажимал всю ладонью и пальцами. И ребенок вскоре затих, а дурак сидел не шевелясь, чтоб не потревожить ребенка. И тепло и хорошо было на душе у дурака, потому что сделал он доброе и хорошее дело. А когда вернулись пастухи с большого базара, они нашли в шатре блаженно улыбавшегося дурака с мертвым ребенком на руках: дурак продавил ему родничок своими дурацкими пальцами.

— Ты сам дурак, — резко повернувшись и сбрасывая ноги с кровати, сердито сказал Петр, — ничего не понимаешь... Он просто исследовал, он был слеп и шел до конца, как всякий исследователь и экспериментатор, а сосунок по случайности был отдан ему в руки. Ты что ж, хотел бы, чтоб он остановился на полпути?

— Но жалко ведь ребеночка... — изумленно выдавил Лакоста. — Ведь можно было как-нибудь по-другому...

— По-другому другой бы действовал, не этот! — облокотившись о колени и опустив подбородок в сведенные ладони, сказал Петр. — Ты этого понять не можешь, да и не ты один. Один из целого народа это понимает. И расплачивается за это понимание.

— А народ? — тихонько спросил Лакоста. — Народ — не расплачивается?

— Народ — инструмент, — устало, грустно усмехнулся Петр. — Один мастер в ответе перед Богом.

— Но если инструмент сломался, — сказал Лакоста, избегая глядеть в глаза царя — круглые, страшные, — мастер не может продолжать...

— Только Бог выше мастера, — строго сказал Петр. — Как Он хочет, так и будет.

— Что Он хочет? — вдруг горестно закричал Лакоста, и Петр взглянул на него удивленно, издалека. — Я не хочу, чтоб меня турки на кол посадили, не хочу евнухом служить у аги! Кто сказал, что Бог Израиля требует душу русского царя? Кто?

— А ты выгляни наружу, — снова укладываясь, с иронией в голосе посоветовал Петр. — Не слышишь, что ли?

За стенами шатра слышались близкие разрывы артиллерийских бомб, накатывающий рев осаждающих.

— Отдай им, государь, что они хотят, — стуча зубами, сказал Лакоста и, подойдя к кровати, опустился перед ней на колени, как перед троном. — Пусть подавятся... Ты силу наберешь, все возьмешь обратно! Ты — на полпути не остановишься! Инструмент ломать собственными руками — спесь, спесь!

— Что им отдавать, — безразлично глядя в потолок, сказал Петр. — Они и так сами все возьмут.

— Спесь! — иступленно, как заклинание, повторил Лакоста. — Мы, евреи, знаем, что это такое... Страшное дело ты делаешь, государь. Предложи им, чем так-то... — он хотел сказать "лежать", по поостерегся, зачистил, продолжая: — Пошли Шафирова, пусть торгуется, пусть...

— Разве я о себе думаю? — тихо, властно перебил Петр. — Я о себе уже отдумал, меня уже и нет как бы: ну, еще час, еще два... Но со мной ведь все кончится, а в Москве этого только и ждут, и сын, сын мой ждет прежде других! Я двадцать лет работал, а сегодня мы не на двадцать лет — на двести лет назад уйдем. Ты это понимаешь, шут?

— Пошли Шафирова, — повторил Лакоста. — Он на

брюхе будет ползать — не ты. Он умеет, ты сам знаешь. Ведь, может, что и получится...

— Все развалят, все сожгут, — продолжал Петр. — Турки страшны — а свои страшной стократно. После меня новая смута начнется, великая азиатская смута. И поляки полезут русские кости растаскивать, и литовцы, и крымчаки. — Подняв руку со сведенными в кулак пальцами, Петр с размаху ударил себя по голове, потом еще раз. — Я здесь в таком же состоянии, в каком был брат мой Карл при Полтаве.

— Государь, Ваше величество... — ерзя на коленях, испуганно зашептал Лакоста. — Ведь надежда еще есть... Шафиров...

— Надежда пархатая, — Петр с силой зажмурил глаза, и вдруг возникли перед ним Польские ряды в Москве, и сердечный друг Лефорт, и пыхтящий Шафиров, сцепившийся с оборванцем Алексашкой из-за краденой шапки. — Это славно: Шафиров — последняя надежда России... Пусть идет. Скажи ему: я приму любые их условия, кроме капитуляции. Мне нужно сохранить мою армию и Москву.

— А Санкт-Петербург... — почти не веря своим ушам, выдохнул Лакоста.

— Уступить последним, если не останется никакого выхода, — снова сбросив ноги в ботфортах с кровати, он сел перед стоящим на коленях Лакостой. — Карл будет рвать Север, турки — Юг. Но пушки решают судьбу городов, а не переговоры! Поэтому без армии я отсюда не уйду, да меня только сумасшедший отсюда и выпустит... Если бы Шафиров сторговался!.. — Рывком вскочив с кровати, Петр заметался по шатру, как будто шатер был его лагерем, прижатым к реке, окруженным, запертым со всех сторон. На миг остановившись у стола, он скользнул взглядом по своему



завещанию, осторожно, как по живому, провел по нему рукой, и снова забегал. Лакосту он огибал, как кресло или сундук.

— Так Шафиров сейчас пойдет, — сказал Лакоста, подымаясь с колен.

Петр не услышал, не ответил.

Стоя перед Великим визирем Мехметом, Шафиров с наслаждением потягивал крепчайший горьковатый кофе из крошечной чашечки белого китайского фарфора. С внутренней стенки чашечки на него глядел дракон золотыми крупинками глаз... После двух часов стояния на ногах принесли кофе, и это, несомненно, был добрый признак. И хорошо, что турок отослал своих головорезов и, особенно, советника Понятовского: поляк, конечно, отстаивает интересы Карла и, кроме того, он мыслит весьма здраво, весьма. Теперь сесть вот хоть бы на пол — ноги отекли, отказываются держать.

Мехмет сидел на красном ковре со строгими черными узорами, опершись локтем о пеструю шелковую подушку. Из-под маски вежливого безразличия и напускной усталости проглядывало любопытство: этот жирный русский с бегающими глазами пришел, разумеется, не для того, чтобы объявить неоспоримое: завтра на рассвете царская армия будет уничтожена. Для чего же он явился?

Первые два часа разговор плелся через пень-колоду, а то и вовсе пресекался надолго; и молчание это было тягостным только для стоящего Шафирова. Турки, посмеиваясь, расспрашивали о здоровье государя и царевича Алексея, о том, чистым ли золотом крыты маковки кремлевских церквей. О войне и о завтрашнем дне речь почти и не заходила, и это было ос-

корбительно. Только раз, в ответ на разведочное предложение Шафировова об уступках, визирь, плавно махнув рукой, заметил вскользь:

— Ну, завтра мы ведь это получим и без ваших уступок...

Только после того, как Шафиров, ласково глядя, заявил, что имеет сообщить визирю с глазу на глаз нечто совершенно чрезвычайное, Мехмет заметно оживился, отослал приближенных и велел подать кофе. Но сесть царскому министру Шафирову поамест не предложил.

Кофе было выпито в молчании, нарушаемом лишь смачным причмокиванием пьющих.

— Замечательный напиток, — в последний раз взглянув на золотоглазого дракона, сказал Шафиров, и визирь в знак признательности за похвалу чуть наклонил голову.

— Вы правы, господин министр, — гортанно выговаривая французские слова, сказал визирь. — Но вы, мне кажется, хотели говорить об огне.

— И да, и нет, — переступив с ноги на ногу, живо возразил Шафиров. Ему с трудом верилось, что этот любезный, говорящий по-французски и напоминающий многими манерами англичанина турок может приказать насадить его, Шафировова, на кол. — Огонь быстро вспыхивает и быстро гаснет, как и военная слава. Есть вещи куда более долговечные, чем огонь.

— Например? — поднял брови визирь.

— Золото, — уверенно, с нажимом сказал Шафиров. — Мы как раз собирались платить жалованье офицерам, и наша казна блестит, как самородок.

— Вы опытный человек, господин министр, — сводя и разводя перед собою пальцы рук, сказал визирь. — Вы ведь не можете не понимать, что завтра, ну, после

завтра этот самородок привезут в мой шатер, вот сюда. — И Мехмет легким жестом указал, куда именно — на большой ковер, посреди шатра. — Что еще вы хотели мне сказать?

— Драгоценности царицы вдвое, если не втрое дороже всей казны, — пробормотал Шафиров. — Одна диадема...

— Я ее получу вместе с головой Ее величества, — мягко, почти весело вставил Великий визирь.

— С мертвой головой... — уточнил Шафиров.

— Что вы этим хотите сказать? — снова поднял брови Мехмет.

— Почти ничего, — сказал Шафиров. — У царицы необычайно красивая белая шея, и я на миг представил себе ее голову отделенной от туловища.

— Ах, да... — рассеянно сказал визирь. — Я много слышал о вашей царице. Говорят, она красивая женщина.

— Она необыкновенная женщина, — наклонившись вперед, но не трогаясь с места, шепотом сказал Шафиров. — Поэтому царь Петр сделал ее царицей.

— Да что вы говорите! — визирь улыбнулся сизыми старческими губами и тоже немного наклонился к Шафирову, как бы ожидая подробностей, о которых не принято говорить во весь голос. — Чем же она так необыкновенна? И почему, действительно, ваш царь женился на пленнице?

— Действительно, почему? — со злостью подумал Шафиров и сказал, опустив глаза:

— Другой такой нет во всем свете. Эти руки, эти божественные руки! Эти губы — полные, чуть-чуть приоткрытые! — он украдкой взглянул на турка и увидел, что тот слушает внимательно, наставив ухо. — А грудь, грудь! Она как два холма, между которыми

помещается райская долина... — Шафиров умолк, подыскивая подходящие слова. — Я клянусь вам, нет мужчины, который, глядя на царицу, не испытал бы волнение крови.

— И вы? — легко спросил турок. — Вы тоже?

— И я тоже... — сказал правду Шафиров. — Но мне, — он горько выделил это "мне", — бессмысленно об этом и мечтать.

— Вот как! — то ли с сочувствием, то ли с иронией сказал визирь. — Да вы садитесь, садитесь вот сюда.

Шафиров опустил на ковер и с трудом подобрал под себя ноги. Сердце его гулко колотилось, во рту было сухо, как в полыхающей печи. Если турок не посадит его на кол, Петр за такие разговоры собственноручно отрубит ему голову. "Шатхен\*", — всплыло в его памяти почти стершееся еврейское слово. — Грязный, вонючий шатхен!"

— Женщина дороже золота, дороже славы, — жалко и сладко улыбаясь, сказал Шафиров. — Т а к а я женщина.

— Но какая же — т а к а я ? — уже с жадным любопытством спросил визирь.

— Вы — солдат, мой господин, — торжественно изрек Шафиров. — И я скажу вам как мужчина мужчине: царица Екатерина Алексеевна и мертвеца способна поднять из могилы. Но — живая Екатерина Алексеевна!

— Она большая? — продолжал спрашивать визирь. — Белая?

— Большая, белая, — подтвердил Шафиров. — Многие герои за одну ночь с ней отдали бы жизнь. А вы, мой господин, сохраните жизнь тысячам ваших солдат, по-

\*Шатхен (евр.) — сват, в переносном смысле — сводник.

знаете ни с чем несравнимое мужское счастье и в придачу получите драгоценности царицы. И казну! — поспешно добавил Шафиров, видя, что визирь улыбается саркастически.

— И Азов, и Таганрог, и еще кое-что, о чем мы еще поговорим, — продолжая улыбаться, сказал визирь и пропустил седую бородку сквозь кулак. — Так вы говорите...

— Да, да, — угадал Шафиров. — Славой вы покрыли себя в боях, но победить русскую царицу вы можете только с ее собственного соизволения.

— Вы приведете ее сюда? — покусывая губы, спросил визирь. — Когда?

— Ради чести отечества она пожертвует своей честью, — мучительно выговорил Шафиров. Лицо его покрылось мелкими капельками пота, он вынул большой белый платок и приложил его ко лбу.

— Так когда же? — нетерпеливо спросил визирь.

— Ночью, — сказал Шафиров. — Это, разумеется, составит секретный параграф нашего соглашения.

— Секреты хранятся в железном сундуке, — жестко сказал визирь. — Но и железо против времени не выстоит, господин министр.

— Военная слава со временем меркнет и превращается в исторический анекдот, — в тон ему продолжал Шафиров, — а победа над женщиной, одержанная вовремя, может изменить течение истории. И вы сегодня ночью, мой господин, войдете в историю куда прочней, чем могли бы войти завтра утром, под гром пушек.

Они замолчали, глядя в разные стороны. Шафиров потрясенно думал о том, что, не согласись с ним турок или Екатерина — и завтра придет конец Петру, и русская история свернет на другую дорогу и, скорей всего, полетит в очередной раз вверх тормашками.

А Мехмет, потягивая дым из кальяна, размышлял над тем, что этот жирный русский министр наверняка считает его, Великого визиря, варваром и восточным дураком — а ведь он на старости лет просто хочет спать с необыкновенной царицей Екатериной, вот и все.

— Кофе! — отвалившись от кальяна, крикнул Великий визирь и ударил в ладоши.

Грохот турецких пушек вдруг пресекся, как перерубленный топором. Из-за реки еще твякнула раз другой какая-то далекая пушчонка, а потом смолкла и она. На русский лагерь обрушилась ночная глубокая тишина, и эта внезапная тишина более всего удивила фельдмаршала Шереметева.

Не в силах влиять ни на что — ни на ход турецкого удушения, ни на сафировские переговоры — фельдмаршал, попивая чай, празднично сидел в своей палатке. Опытный военный, он отдавал себе отчет в том, что дело проиграно бесповоротно, что только чудо может спасти царя, остатки армии и его самого, Шереметева. Но в чудеса он не верил. Да и чего, собственно, он мог желать, спустись вдруг со звездного южного неба чудо на своих шелковых крыльях? Плена вместо смерти? Но Шереметев был старым человеком, прожившим ослепительную жизнь и уставшим от этого огненно-золотого блеска; к смерти он относился почти товарищески. Сидя над своим чаем, в темноте палатки, он с благодарностью к Богу предчувствовал наступление покоя — и он улыбался. Турецкий плен с его неизбежной новизной, с его волнениями и, весьма возможно, изрядными физическими неудобствами никак его не устраивал. Плен в двадцать лет, ну, в тридцать — это еще куда ни шло, это опыт, но для усталого и

больного старика смерть куда предпочтительней плена. И, в конце концов, кому еще, как не фельдмаршалу, надлежит умереть в суতোлке побоища, под аккомпанемент артиллерийской канонады? Потягивая чай и размышляя таким образом, Шереметев вполне смирился с подступающей смертью и был готов к ней.

Поэтому грянувшая тишина, нарушив его планы, безмерно удивила фельдмаршала. Вытянув шею, он придиричиво вслушался; тишина была полной. Десятки тысяч людей в Петровом лагере, и там, у турок, и за рекой недоверчиво слушали сейчас, вместе с русским полководцем, неожиданную тишину.

Поспешно поднявшись из-за стола, Шереметев натянул парик и вышел из палатки. До шатра Екатерины было рукой подать, но он не вошел туда. Кряхтя, опустился он в прохладную траву под старым вязом, в виду шатра, и прислонился спиной к надежному и дружелюбному стволу дерева. Чем вызвано прекращение огня? Этот вопрос мучил его, не отпускал, как зубная боль. Как ни прикидывал, как ни переставлял он возможности — вывод получался один: капитуляция. Но не мог же, не мог жид Шафиров по собственному усмотрению решиться на такое! Да и царица не могла. Нет, впрочем, могла: немка, баба... Шереметев вспомнил взятие Мариенбурга, вспомнил пленную служанку пастора Глюка — услужливую и гладкую девочку Марту, хотел улыбнуться — и не смог. Кто бы тогда предположил, что девять лет спустя эта пленница, выуженная фельдмаршалом из-под унтер-офицерской телеги, будет решать судьбу России? Покачивая головой в растрепанном парике, он перевел глаза с царицыного шатра на темный и немой, как надгробье, шатер Петра.

Граф Головкин подошел неслышно, остановился

около фельдмаршала. Обернувшись, Шереметев встретил вопрошающий взгляд хозяина дипломатического ведомства и пожал плечами.

— Не знаю, граф, — сказал Шереметев и, описав рукою полукруг, словно погладил тишину перед собой. — Просто ума не приложу...

— Но это Шафиров!? — полуспросил Головкин.

— Кому ж еще быть! — сказал Шереметев. — Он...

— Что он дал взамен! — уже не адресуясь к фельдмаршалу, а — к тишине, сказал Головкин. — Что он мог им дать!

Шереметев снова пожал плечами и уставился в землю.

— Скоро узнаем, граф, — сказал Шереметев, помолчав. — Он мимо нас не пройдет.

Так они ждали довольно долго, почти не разговаривая друг с другом. Ни один из них не мог бы сказать с уверенностью, сколько времени они прождали здесь, под деревом. Когда, наконец, появился Шафиров, они вышли из тени и встали на его пути.

С откинутой на короткой шее головой, он смотрел на них вызывающе, почти презрительно.

— Ну, что? — нетерпеливо спросил Головкин. — Почему они прекратили стрелять?

Шафиров сжал губы в ниточку, засопел и еще дальше откинул голову.

— Я прошу вас, господа, запомнить эту ночь, — торжественно, в нос сказал Шафиров. — В эту ночь я спас Россию! Я!

Шереметев скептически улыбнулся, отвернувшись в сторону. Ну, Шафиров, ну, жид! Может, и вправду, спас... Но зачем же сопеть, зачем словами такими бросаться? Это только царю позволено -- не какому-то



там жиду. А еще дипломат! Ведь эти слова Головкин, начальник его, ему до самой смерти не забудет!

— Объясните, — сухо сказал Головкин.

— Я дам отчет о переговорах Ее величеству, — обронил Шафиров и двинулся было к шатру.

— Не валяйте дурака! — уже зло сказал Головкин. — Я вам приказываю: говорите! Вы слышали?

— Вы настаиваете? — спросил Шафиров. Выпуклые его глаза победоносно поблескивали в темноте.

— Несомненно! — избегая глядеть на своего заместителя, сказал Головкин.

— Мы возвращаем Азов, жертвуем таганрогскими укреплениями, — сказал Шафиров. — Продолжать?

— Раз начал, так уж и кончай! — шепотом прикрикнул Шереметев. — Что еще?

— Государыня должна подтвердить соглашение, — раздумчиво наклонив голову к плечу, сказал Шафиров. — Все пункты соглашения.

— Вы не в своем уме, — пожевав губами, сказал Головкин. — При чем тут государыня? Царь подпишет соглашение, если пожелает... Что с вами, Шафиров?

Отставив ногу, Шафиров ковырял землю носком башмака. Губы его были сложены в трубочку.

— Это требование Великого визиря, — сказал Шафиров. — Государыня Екатерина Алексеевна должна сейчас, немедленно прибыть в его ставку. Или через три часа начнется штурм. — И добавил, мстительно сощутив глаза: — Вы мне приказали говорить — я говорю. Но Великий визирь не настаивал, чтобы это требование было доведено до вашего сведения.

— Да как же это ты язык себе не отрубил! — отступив на шаг и перекрестившись, простонал Шереметев. — Государыню! Под бусурмана!

— Под мужика можно! — сквозь зубы пробормотал Шафиров. — Под тебя можно! А под бусурманина — нельзя!

— Да как у тебя язык повернется ей сказать-то! — продолжал причитать Шереметев.

— Русский язык не повернется, а жидовский повернется, — холодно и отчетливо, словно бы разбирая слова по косточкам, сказал Головкин. — Ступайте, Шафиров. Ее величество, надо полагать, ждет вас.

Шафиров чувствовал облегчение, как будто гора у него с плеч свалилась: чудовищная, идиотская и страшная тайна не принадлежала больше ему одному, он не должен был таскать ее в себе, как заряженную артиллерийскую бомбу. Всю обратную дорогу из турецкого лагеря эта тайна фамильярно и нагло подмаргивала ему своими блудливыми глазами: "Пришел твой звездный час, дипломат Шафиров! Тебе обеспечено место в Истории — если не как мудрому книгочею и политическому комбинатору, то как удачливому своднику. И потомки до скончания веков будут ломать голову над тем, почему Великий визирь выпустил в последнюю минуту горло Петра из своих мягких пальцев". Шагая следом за приставленным к нему для сопровождения агой, Шафиров ловил себя на желании подойти к первому встречному коню или кусту, прижаться губами к чему бы ни попало и прошептать в совершеннейшем восторге: "Фунт сладкого царицыного мяса — вот истинная цена этого мира!" Тайна была потрясающая и вместе с тем предельно проста, куда проще смазных сапог. Тайна уходила корнями в прохладную великолепную древность, и поэтому казалась еще более живой и ароматной: господин и госпожа, мужик и баба. И весь этот железный мусор —

усовершенствованные пушки, дальнбойные фузеи и секретные метательные ножи — ничто, пустой звук рядом с тем, что перед рассветом будет делать с царицею Великий визирь. Вот цена мира, цена жизни десятков тысяч людей и российского будущего: жидовская башка и немецкая шахна. А разговоры о невиданном доньше прогрессе и о полезных изменениях человеческой натуры — не более, как барабанные упржнения; и вот голый пример.

Тайна клокотала в Шафирове, как кипяток в самоваре. Тайной надлежало поделиться хоть с человеком, хоть с конем, скорей разомкнуть натужно сведенные уста — и тем освободиться от внутреннего, распирающего напряжения... Перекинувшись несколькими словами с Головкиным и Шереметевым, Шафиров как бы выпустил избыток пара и почувствовал облегчение, но вместе с тем и страх: главный, чудовищный разговор с царицей лишь предстоял.

Екатерина ждала Шафирова, сидя в том же кресле, в каком он оставил ее, уходя: она, по-видимому, не ложилась. Ровный свет двух свечей на столе и третьей из угла, кандальной, на высокой бронзовой ножке, освещал круглое белое лицо царицы и ее плотные плечи, вольно откинутые на мягкую спинку кресла. Увидев вошедшего посла, она движением нежного полного подбородка указала ему на стул близ себя. Шафиров сел, наклонившись вперед — маленький рядом с этой беременной и отечной, и все же принадлежащей как бы к другой, особой породе людей женщиной в тяжелом платье, украшенном жемчугами по подолу и коротким, до локтей, рукавам. И он почувствовал жалость к ней и раскаяние — таким немощным казался ему по сравнению с этой совершенной детородной машиной старый турецкий визирь, к которому

она по его, Шафирова, замыслу должна была сейчас отправиться, старательно, как купленная прачка, его обнимать, греть его обтянутую сухой кожей плешивую голову вот на этих двух мощных полушариях, налитых горячей молочной силой.

Шафиров нагнулся еще ниже, сполз на пол и встал на колени перед царицей.

— Мы спасены, Ваше величество, — опустив голову, сказал Шафиров. — Быть может, мы спасены...

— Санкт-Петербург? — быстро спросила Екатерина.

— Упаси Бог, — сказал Шафиров, — вовсе нет!.. Но визирь требует жертву более тяжкую. Поверьте, Ваше величество, куда легче было б расстаться с Санкт-Петербургом, чем...

— Чем — что? — Екатерина застучала, зацокала пальцами по подлокотнику.

— Город можно отвоевать, или новый построить, — глухо сказал Шафиров. — А тут...

— Да говорите же! — прилепнула ладонью Екатерина.

— Язык не поворачивается сказать, Ваше величество, — вспомнив Шереметева, выдавил Шафиров. — От вас визирь требует жертвы, от вас!

Высоко подняв брови, Екатерина протянула руку, потрепала Шафирова по щеке.

— Проклятый турок хочет, чтоб вы пришли к нему тайно, — прошептал Шафиров.

— Когда?

— Сейчас...

— И потом?

— Он выпустит нас отсюда со знаменами и оружием, — сказал Шафиров. — Ваш приход — это его условие.

Сцепив руки на круглом животе, Екатерина отки-

нулась в кресле и, глядя сверху на склоненный затылок Шафирова, усмехнулась. С ума он сошел, что ли, этот турок? Старикашка, наверно, какой-нибудь... А Шафиров-то хитрющий: "Легче расстаться с Санкт-Петербургом". Как же, легче! Да турок и не хочет Санкт-Петербург, а хочет ее, Марту, то есть Екатерину Алексеевну. Все мужики одинаковые, вот уж точно! И Гуго, и тот унтер-офицер, и Шереметев-старик, и Александр Данилович, и Петр Алексеевич, и... Гуго, пожалуй, был лучше всех, Царствие ему Небесное — свой, настоящий. Как он тогда говорил ласково, почти пел: "Вот, Марта, разобьем царя Петра — и купим корову, будет у нас молочное хозяйство". Руки у него были теплые, большие, а волосики беленькие, мягкие. А теперь вот не пойдешь она к турку — и разбит будет царь Петр Алексеевич, убит, как Гуго. Ни Гуго от этого лучше не станет, никому. А ей, Марте, снова придется под телегу лезть к какому-нибудь Мухамету, снова все начинать сначала на двадцать четвертом году — уж куда как не девочка. И кому ж мужа спасать, как не родной жене?

— А не обманет турок-то? — озабоченно спросила Екатерина.

— Не думаю, Ваше величество, — повел головой Шафиров. — Мы получим соответствующие гарантии.

Легонько оттолкнув Шафирова сведенными в шепотку пальцами, Екатерина стремительно поднялась с кресла и, взяв свечу со стола, подошла к зеркалу.

— Вам нужно произнести сейчас какую-нибудь историческую фразу, Ваше величество, — подавив горькую усмешку, заметил Шафиров.

— Ну, так не в службу, а в дружбу придумайте что-нибудь, Шафиров! — сказала Екатерина, внимательно

разглядывая свое отражение в серебристой глубине венецианского стекла: чуть приоткрытые пухлые губы, круглые щеки с ямками. — Я отпустила камеристку — подайте-ка мне румяна вон из того шкапчика.

— Вот, Ваше величество! — сказал Шафиров, живо подавая спрошенное. — И пудру! Вот эту? И, если позволите, я вам принесу плащ, офицерский.

— Мы пойдем пешком? — удивленно спросила Екатерина. — Это ведь, кажется, далеко...

— Ну, что вы! — возразил Шафиров. — Мы поедем в моей карете, я сейчас распоряжусь.

— Красивое платье? — спросила Екатерина. — Или лучше лиловое?

— Лучше лиловое... — сказал Шафиров и болезненно поморщился, как будто кто-то всадил в его сердце и повернул там длинный ядовитый шип.

Когда они проходили мимо Петрова шатра, царица замешкалась на миг: ей почудилось, что муж властно и поощрительно смотрит на нее из-за чуть сдвинутой в сторону оконной занавески, что он признал ее, Екатерину, в пузатом и несуразном гвардейском офицере.

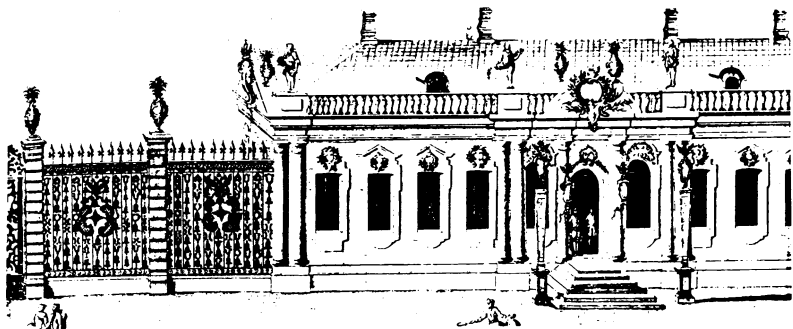
...Отпустив занавеску, Петр сел к столу, набил глиняную трубку черным голландским табаком и, с силой втягивая податливое пламя свечи, затянулся крепким ароматным дымом.

Немногим более, чем через двадцать четыре часа, на рассвете, русские войска со знаменами, пушками и барабанным боем переправились через реку Прут и потянулись домой, в Россию.

Петр с Екатериной поехали отдыхать в Карлсбад, на курорт.

Великий визирь Мехмет был посажен султаном на кол. Узнав об этом, Шафиров, оставленный тур-

ками в качестве заложника до выполнения русскими их обязательств по мирному договору, испытал прилив неприятных чувств.



## 8. ЯВЛЕНИЕ ИЛЬИ-ПРОРОКА. 1714

е да была невкусная: острая, кровяная, с кусочками слегка обжаренного огненного перца. Осторожно жуя, Шафиров вспомнил нежнейшие домашние супчики и тефтели и грустно улыбнулся. Радость победы над Мехметом, распиравшая его в ту прутскую ночь, давно истончала и пожухла. Теперь, три года спустя, его радовало другое: что кончился срок его заложенничества, что он едет домой — к жене и к дочкам, к книгам, к супчику. И, против желания возвращаясь памятью на берега Прута, он испытывал неловкость оттого, что послужил причиной гибели турецкого визиря. Турок был, в сущности, неплохой человек, и культурный. И тот факт, что, не сядь он на кол, неисчислимые бедствия обрушились бы на Россию, — этот факт сейчас ничуть не облегчал неловкости Шафирова перед самим собою.

Три года назад это все выглядело иначе. Тогда он сам, собственноручно готов был изрубить Великого визиря в кебаб — лишь бы вырваться из губительного мешка, спастись самому, спасти Петра, Екатерину, Россию. Теперь триумф, ожидающий его в Санкт-



Петербурге, не заставит его задыхаться от волнения и восторга. Ну, может, построят по царскому эскизу аллегорическую арку. Что, интересно, на ней изобразят?

Мысль о том, что знает Петр о той ночи, была неприятна Шафирову, пугала его. Он, конечно, герой, он спас — но это ведь случилось не вчера и не третьего дня. А сегодня у царя другие заботы, и другим людям поручено их разрешать. Да и Шереметев с Головкиным не сболтнули ли лишнего? А если сболтнули — а сболтнули почти наверняка — и пополз слушок, так и благодарность царская обернется бедой. Изовьется слуш к змеей, подползет тишком — и ужалит. Вот и весь сказ.

Шафиров, однако, на дурных мыслях долго не задерживался. Приятней было отгородиться от них, заслониться ну вот хоть ладонью — и думать о доме, о семье. Он рассчитывал вернуться в Санкт-Петербург к весне, к Пасхе — единственному еврейскому празднику, который он отмечал все годы, даже в заложничестве. Повторяя скороговоркой молитвы и деловито мурлыча под нос пасхальные песни, он просил Бога вывести его из туретчины, как вывел Он когда-то евреев из земли египетской рукою крепкою... И вот наступил день — и Шафиров едет домой.

Затянувшееся это заложничество не прошло для Шафирова даром. По отношению к нему султанских людей, то приторно сладких, как халва, а по большей части враждебных и грозных, он чувствовал, знал: он ходит вокруг кола. Приди царю в голову весьма здравая идея — задержаться с его, шафировскими обязательствами перед султаном или вовсе отказаться от них — и кол из леденящей душу угрозы превратится в реальную палку с заостренным концом, черным от

кала и крови... Такие мысли и видения, при всем их чудовищном ужасе, постепенно примиряли Шафирова с ледяной вечностью, расположенной по ту сторону смерти. Бирюзово-голубые турецкие утра казались ему даром Божиим, и, разглядывая через окно крепко охраняемого дома безмятежный далекий горизонт, он с повлажневшими глазами размышлял о том, что успех и карьера — пустая суета, что погоня за наживой мельчит и чернит душу и что, пожалуй, только книги, золотые глыбы книг способны принести человеку облегчение и покой... Все эти рассуждения пресекались и были забыты, как только пришел день освобождения из заложничества. Остался страх за свою судьбу, страх перед царем. И осталась усталость, от которой, верно, не избавиться уже до конца дней.

Сразу, в один миг Санкт-Петербург сделался близок, как будто оставалось до него полперегона. И вживе представились картины пренеприятнейшие: склоки и подсиживания в Сенате, зависть врагов и друзей, и неудачника-брата надо, наконец, пристроить к какой-нибудь службёнке для виду и для содержания. Судьба младшего брата заботила Шафирова: нехорошо, негоже родственникам вице-канцлера прозябать в ничтожестве. Нехорошо и несправедливо. В почтовом ведомстве следует приискать ему что-нибудь приличное: доходное и почетное. И пора, пора серьезно подумать о подходящей партии для старшей дочери: молодой Волконский ходит в женихах, и Толстой. На приданое можно пустить доход с семужного промысла на Белом море, за такие деньги даже рюриковичи закроют глаза на происхождение шафировского папаши Пинхуса. На пасхальный седер они, понятно, не придут, да этого и не надо: достаточно и того, что он, Шафиров, придет целоваться с ними на русскую Пасху. А на седер придет

Дивьер, придет Лакоста. Не будет миньяна — невелика беда: Санкт-Петербург — не Смоленск, здесь все евреи наперечет. А гоям и не стоит знать о пасхальном седере в доме русского вице-канцлера Шафирова. На седер надо будет приготовить фаршированную шуку, бульон с кнейделах... Вспомнив о кнейделах, Шафиров поковырял двузубой вилкой кусочки перченого мяса и брезгливо поморщился. Скоро, скоро домой! И снова жизнь помчится вскачь, как тряская безрессорная коляска, запряженная жеребцом с царской конюшни. Так что ж, что безжалостно подбрасывает на ухабах и душу вытрясает! Зато — вперед, в дали, набитые алмазами, орденами и титлами, пропахшие вином и порохом, пропитанные клейкой кровью и слезами восторга и счастья! Вперед — к родному горизонту, наколотому на булавку шпиля Петропавловской крепости и столь отличного от этого окаянного азиатского окаема, похожего на шелковый пояс, накинутый на земные бедра и лениво сползший на ее чресла. Долой отсюда — из этого обрыдлого края, настолько обрыдлого, что даже турецкий язык не захотелось учить и пришлось взяться за итальянский. Довольно! Сколько там еще осталось по Южной дороге до Санкт-Петербурга, любезные господа?

Борох Лейбов направлялся в Санкт-Петербург по другой, Западной дороге. Путь его был не близок и не далек — от родного его местечка Зверятичи, что около Смоленска. Борох был человеком средних лет и среднего роста, плечистым и кряжистым, с пронзительным и пасмурным взглядом темных глаз. Его крупное белое лицо с прямым и тонким по гребню носом заросло пышной широкой бородой, в черной гуще которой уже поблескивали кое-где серебряные нити. Сидя в бричке,

Борох Лейбов кутался в овчинный тулуп, надетый поверх капоты, и с безразличием поглядывал на редкие деревеньки да на мокрый лес по сторонам проезжей дороги. Он не любил путешествий, в первую очередь потому, что ему было жаль времени, потраченного на перемещение из одного места в другое, ему по каким-либо причинам потребное. Это пустое время, украденное у разумной жизни, требующей целенаправленной деятельности, это время, проведенное в бричке, телеге или коляске, было никак не восстановимо. А ведь можно было бы потратить его с несомненной пользой для души или для коммерции: изучая Талмуд и комментарии к нему или ругаясь с корчмарями, за доходами которых Борох Лейбов, кабацкий откупщик, следил пристально.

В Санкт-Петербург Бороха Лейбова вели дела не коммерческие. Решив основать в местечке Зверятичи еврейскую начальную школу, он отправился в Петербург и Москву за помощью и поддержкой единоверцев, явных и тайных. К последним он безоговорочно относил и могущественного Шафирова, возвращающегося, по слухам, к Пасхе из турецкого сидения. Еврей-выкрест был омерзителен Бороху Лейбову, как змея или крыса, но перспектива открыть хедер в Зверятичах превозмогала его омерзение: Шафиров был, пожалуй, единственным, чья помощь решила бы дело беспрепятственно и быстро. Стоило помучиться, общаясь с этим грязным мешумедом — лишь бы зверятические дети получили свою школу и учили бы там с ребе святую премудрость Священных книг. Борох Лейбов уже и место приискал для школы — прямо против церкви Николая-Чудотворца, только площадь пересечь. Именно там следовало начать безбоязненную борьбу с попом Ам-

вросием — ловцом слабых душ и прельстителем. В таком деле не следовало прибегать к полумерам, потому что Бог, вне всякого сомнения, был на стороне Бороха Лейбова.

Поп Амвросий, однако же, придерживался противоположной точки зрения: Бог, по его убеждению, всецело был на его, амвросиевой, стороне. Кроме того, на стороне попа был смоленский архиерей Филофей, и это тоже было немаловажно. Старая вражда связывала Бороха Лейбова с попом Амвросием, и вражда эта была крепче, чем иная дружба; взаимная ненависть и презрение иссякли бы только с уходом одного из врагов в могилу. И каждый из двух твердо рассчитывал, с Божьей помощью, пережить другого.

Сомнения были неведомы их закаленным душам. Уверенные в своей святой правоте и Божьем попечительстве, они видели друг в друге воплощенное дьявольское зло и готовы были к пролитию крови. Они пускали в ход издевки и оскорбления и, столкнувшись случайно, а то и умышленно на улице, вспыхивали, как вязанки сухого хвороста; Борох Лейбов в таком случае растопыривал руки над головой наподобие рогов и, подпрыгивая, блял по-козлиному, а Амвросий скакал на месте и кукарекал петухом. Человеческий язык был бы их общим языком, а они не желали иметь ничего общего, и вот, ради подчеркивания непреодолимой розни, один кудахтал и кукарекал, а другой блял. И каждый, пылая и горя, чувствовал себя Божьим заступником и героем.

В этом священном противоборстве хорош был и оговор, и донос. "Борох-Лейба и жена его, — доносил Амвросий, — служившую у них крестьянскую девку Матрену Емельянову в субботу против Богоявления Господня, связавши ей руки и ноги и повеся

за переводный брус, держали в таком положении с вечера до утреннего звона и, завесивши ей голову, булавами и иглами испускали из нее руду". Вызванная для дачи следственных показаний, девка Матрена начисто отвела навет, возводимый на ее хозяина, и доносу не был дан дальнейший ход. Однако известность и авторитет Бороха Лейбова и попа Амвросия значительно возросли после этого случая в среде их единоверцев. И тот, и другой сделались в Зверятичах истинными праведниками и героями, и их приверженцы терпеливо ждали исхода затянувшегося поединка.

Открытие хедера против церкви Николая-Чудотворца было задумано как смелый контратакующий шаг. Бог знает, на чьей стороне тут была правда и здравый смысл, но сила была на стороне попа Амвросия. А сила и правду ломит.

С яростным омерзением вспоминая петушьи крики проклятого попа, Борох хмуро поглядывал из брички на дорогу. Зверятичская школа со временем уподобится Явне, она станет оплотом против нечестивых гоев, светочем для благочестивых и грозой для слабодушных, нарушающих заветы и предписания. Ибо еврей, нарушающий предписания, еще хуже гоя... Увидев за поворотом, за черными елками заезжий двор, последний перед Санкт-Петербургом, Борох Лейбов вытащил из-под лавки холщовый мешок с кошерной дорожной пищей: мацой, луком и жареным на постном масле мясом.

Анна Меншикова была совершенно счастлива: Дивьер оказался прекрасным семьянином, любящим мужем и отцом. К их большому каменному дому на Мытной набережной, что ни вечер, подкатывали эки-

пажи и коляски с именитыми гостями: люди искали если и не дружбы, то хотя бы расположения сильного и страшного Антона Мануйловича Дивьера. А трехжильный Антон был неутомим и в работе, и в веселье, да и к супружескому ночному труду остался он охоч, как годы назад: Анна ходила если не тяжелая, то сонная и загадочно-улыбчивая.

Александр Данилович Меншиков не показывался на Мытной. По Аньке он не скучал, а если и скучал, то виду не подавал. Встречаясь по царской службе с Дивьером, он держался надменно и холодно, как с чужим; но востроглазый Антон то и дело ловил на себе косые, мстительные взгляды шурина. Эти взгляды, однако, ничуть не пугали и не огорчали бывшего пирата: осторожный и дерзкий, как лесной зверь, он уже достиг всего, что хотел. Положение его при царе было на редкость прочно, потому что он был не только исполнитель, но и честен: имея к тому возможности, не крал или почти не крал, и царь, его же заботами, был об этом осведомлен. Кроме того, по долгу службы и по любопытству характера Антон знал множество интереснейших подробностей о жизни высших царедворцев, в частности, и об Алексашке. И изрядную часть этих подробностей он расчетливо держал про запас, про черный день. Поспевая всюду жданно и нежданно, постреливая из-под неподвижных тонких бровей черно-огненными глазами и привычно беря на заметку вещи на первый взгляд незначительные, Дивьер никого к себе не приближал дружески. Дружба с кем бы то ни было мешала бы, сковывала. В том положении, в каком очутился Дивьер, сегодняшний друг завтра мог нечаянно повредить, а то и предать по собственному умыслу либо под пыткой. Беззаботная дружба времен острова Святого Младенца

отошла навеки, и Антон Мануйлович о том не жалел, как никогда не жалел ни о чем, им содеянном и оставшемся позади. Отсутствие близких друзей было лучшей защитой от заугольных неприятностей, лучшей гарантией личной безопасности — поэтому гресс-комендант строящегося Санкт-Петербурга, советник царя по делам тайного сыска Дивьер друзей не имел. Исключение, подчеркивавшее раз и навсегда принятое правило, составлял Лакоста, шут.

Назавтра после возвращения Шафирова из туретчины Лакоста отправился на Мытную, к Дивьеру. Было уже почти тепло, грязь к концу дня подсыхала под лучами желтенького весеннего солнца, а к утру ее снова прихватывало легким ночным морозцем. Обходя лужи, Лакоста не спеша брел по набережной. Иные встречные узнавали царского шута, кланялись всерьез, без насмешки: жид Лакоста был в чести у Петра. Иные праздно глазели на его строгое немецкое платье, черное; со стороны шут смахивал на аптекаря.

Дивьер не вернулся еще со службы, и Лакоста с Анной сели пить кофе в малой гостиной. Со стен глядели на них картины в сияющих позолотой резных рамах: поясной портрет Петра, жалованный царем, и красочные сцены морских баталий. Над макагониевым французским буфетом висела гравюра резца придворного гравера Зубова: на небольшом листе изображена была Анна Даниловна — с открытыми плечами, с высокой грудью, с загадочной и утомленной полуулыбкой на крупных губах. В углу, в плетеной из серебряной проволоки клетке, сидел на жердочке большой попугай с лазоревой грудкой и розовым хохолком.

— Антоша научил его свистеть по-пиратски, — ска-



зала Анна Даниловна, придвигая к Лакосте вазочку с сахарными коржиками. — Так страшно! Ну, свистни, ну, Федя, милый!

Попугай Федя широко раззявил кривой клюв, пошевелил квадратным языком и, выпучив глаза, оглушительно, с переливами засвистал.

— Красиво, правда? — сказала Анна Даниловна восторженным шепотом. — Какой молодец Антоша!

Наклонив голову к плечу, Лакоста согласился: попугай, действительно, свистел очень громко.

— Хорошая птица, — сказал Лакоста. — Она несет яйца?

— Не знаю даже... — замешкалась с ответом Анна Даниловна. — Она, наверно, старая... А что?

— Я бы хотел для Маши достать такую птичку, — дружелюбно поглядывая на попугая, сказал Лакоста. — Было бы девочке развлечение. А то, я вижу, она иногда скучает у меня.

— Так она ведь уже невеста! — сильным голосом воскликнула Анна Даниловна. — Ей не о птичках надо думать!.. Сколько ей?

— Семнадцать исполнится летом, — сказал Лакоста. — Но она еще такой ребенок, такое дитя! Поверьте, ей больше четырнадцати, ну, пятнадцати никто и не дает.

— Вывозить ее надо, Ян Семеньч, — хмуря брови на высоком лбу, сказала Анна Даниловна. — В свет. Вот и не будет скучать.

— Зато я буду скучать, — тихонько постукивая пальцем по столу, сказал Лакоста. — Дочь шута на светском балу...

— Да какой вы там шут, Ян Семеньч! — отмахнулась Анна Даниловна. — Название одно! Да вас никто за шута и не считает при дворе.

— За кого ж меня считают? — с любопытством спросил Лакоста и постукивать перестал.

— Ну, как... — ненадолго задумалась Анна Даниловна. — Ну, просто за приятного человека.

— Приятный человек при дворе — это опасная должность, — усмехнулся Лакоста. — Куда более опасная, чем царский шут.

— Наливочки выпьете? — спросила Анна Даниловна. — Вишневой?

— Пожалуй, — пожевав губами, согласился Лакоста.

— А дочку отпускайте, отпускайте! — наливая, приговаривала Анна Даниловна. — Ну вот хоть к нам: у нас молодые кавалеры бывают, и военные и статские. Невесту под замком держать — это же хуже не придумаешь! Она замок отомкнет, убежит невесту куда... — Глядя на играющий вишневыми бликами хрустальный лафитник, Анна Даниловна улыбалась счастливо, безмятежно.

— Упаси, Господи... — пробормотал Лакоста и поежился.

Дивьер вошел не слышно, стремительно. Узнав спину Лакосты, почти подбежал к столу.

— Ян! Вот хорошо, что пришел... Аня, мы одни сегодня? Значит, поужинаем по-домашнему. Вели подавать, голубка моя: я голоден, как черт. — И повторил, поглаживая лакостово плечо и близко глядя ему в лицо: — Как тысяча чертей!

— Нарышкины будут ко второму ужину, — сказала Анна Даниловна, подымаясь из-за стола. — И Гагарин обещался Глеб.

— Я так поздно не останусь, — покачал головой Лакоста. — Посидим полчаса, Антуан, поболтаем.

— Как ты хочешь, — сказал Дивьер. — Но перехватим что-нибудь на скорую руку! — Он взглянул на жену.

— Сидите, сидите! — сказала Анна Даниловна, выходя из комнаты. — Сейчас подадут.

— Отличная у тебя наливка! — сказал Лакоста. — И цвет какой... — Он подлил себе, налил хозяину. — Ты уже видел Шафирова?

— Ну, конечно, — сказал Дивьер. — Он просил тебе кланяться. Немного похудел, но — совсем немного.

— Будут какие-нибудь официальные торжества? — спросил Лакоста, взяв стакан меж ладонями.

— Нет, — сказал Дивьер. — Ничего. Но царь, наверно, его наградит: деревни, орден.

— Совсем ничего?! — удивился Лакоста. — Но...

— Прут — не Полтава, — пожал плечами Дивьер. — Прут забыть надо, землей засыпать, чтоб не смердел в памяти. Три года назад, может, что-нибудь и устроили бы, а теперь... Как здесь говорят — дорого яичко да ко Христову дню.

— Трудно забыть, — помолчав, сказал Лакоста. — Моя Маша была бы сейчас сиротой, если б не Шафиров: это он вытащил всех нас из могилы, говорю тебе, Антуан.

— Но ведь и ты, Ян, уговаривал Его величество! — наклонившись к Лакосте, шепотом сказал Дивьер.

— Шафиров меня послал! — шепотом же полуопроверг Лакоста. — И вот теперь Бог вывел его оттуда... Я хочу устроить пасхальный седер и пригласить Шафирова. Ну и, конечно, тебя!

— Где? — выпрямившись в кресле, коротко спросил Дивьер.

— У себя, — сказал Лакоста. — И, если ты имеешь в виду...

— Кого еще ты хочешь пригласить? — продолжал спрашивать Дивьер. — Понимаешь ли, Ян, было бы

крайне нежелательно, если слухи об этом нашем седере пошли бы по городу. Более, чем нежелательно.

— Это понятно, — нешироко развел руками Лакоста. — Миньяна мы не наберем: ты, я, Шафиров и еще один еврей.

— Кто? — поднял глаза внимательно слушавший Дивьер.

— Его зовут Борох Лейбов, — объяснил Лакоста. — Он приходил ко мне просить денег на открытие еврейской школы где-то под Смоленском. Немного странный человек, знаешь ли, несколько нетерпимый... Но он здесь совсем один, а позвать одинокого еврея на пасхальный седер — святое дело, Антуан.

— Да, тут ничего не поделаешь, — Дивьер наклонил красивую, без единого седого волоса голову. — Надо его звать... Но я все же проверю, что это за Борох Лейбов. Ты говоришь, он странный?

— Немного, — уточнил Лакоста. — Он смотрел на меня так, как будто я его должник и еще ограбил его впридачу. Ты же знаешь, есть такие евреи...

— Да-а... — неопределенно протянул Дивьер. — Он, наверно, знает, как надо вести седер? Я-то, говоря между нами, иногда путаю, когда нужно петь, а когда пить. Да и ты, Ян...

— Он знает, знает! — перебил Лакоста. — Тут-то уж не о чем беспокоиться, Да и Шафиров знает.

— Да, правда, — согласился Дивьер. — Это мы с тобой, Ян, призабыли.

— Ну, не совсем! — с жаром возразил Лакоста. — Да это и не главное: когда пить, когда петь.

— А что ж — главное? — Дивьер смотрел на Лакосту пристально, требовательно.

— А то, Антуан, — сказал Лакоста, — что мы себя чувствуем обыкновенными людьми только среди

своих, будь то Шафиров или даже этот Борох Лейбов. Тут мы, евреи — а там они, гои.

— Пожалуй, раз в год мы себе можем позволить такую роскошь... — пробормотал Дивьер.

Вошла Анна Даниловна; мужчины замолчали, а потом заговорили о другом.

Шафиров решил праздновать Песах у себя.

Это решение явилось к нему в тот час, когда он узнал: не будет ни фейерверка, ни аллегорической арки. Ну, что ж, великолепно! Вот она, награда за верную службу — за жидовскую башку, за жидовский язык, за три года сиденья около кола, почти что на колу! Помазанника Божия Петра Алексеевича благодарить не за что, возблагодарим же Бога за милость Его, на седере Его...

Мысли об устройстве тайного седера у Лакосты, за закрытыми ставнями, отпали сами собой. Нет-нет, Песах следует встречать безбоязненно и открыто, в шафировском дворце, в парадной зале. И пусть весь Петербург говорит о том, как российский вице-канцлер Петр Шафиров славит своего еврейского Бога за то, что тот вывел его из туретчины рукою крепкою... По некотором размышлении Шафиров решил все же спуститься из парадной залы в глухой подвал, тоже удобный и почти роскошный, и все устроить там: чудом избежав одной смертельной опасности, не следует подводить себя под другую: в открытую дразнить Святейший Синод, и так-то поглядывающий на Шафирова весьма недоверчиво и косо. Да и Лакоста, пожалуй, не отважится грызть мацу и распевать еврейские молитвы на виду у всего света, а Дивьер — тот наверняка не станет рисковать. Несущественно, в конце концов, в каком этаже встречать Песах — в

первом или в подвальном. И, кстати сказать, шафировский подвал куда надежней лакостовской избушки, куда всякий любопытствующий человек может войти без приглашения. В подвал надо будет спустить парадный стол, стены завесить коврами. И не забыть поставить там бархатное кресло для Ильи-пророка. Это всегда так бывает трогательно: до конца вечера ждать, что вот-вот откроется дверь, войдет Илья-пророк и сядет в кресло. Знать, что не придет никакой Илья-пророк — и все же ждать. В этом есть что-то детское, непорочное. Голубое бархатное кресло для Ильи-пророка.

Поскольку звать Анну Даниловну Меншикову на подпольный седер было бы делом бессмысленным, то и Шафиров решил обойтись на своем празднике без домохозяек: ни к чему это, да они и не поймут. Общество, таким образом, составлялось мужское: сам хозяин, Дивьер, Лакоста и этот Борох Лейбов из Зверятичей. Ну, что ж, Борох так Борох! Когда ж еще и делать мицве\*, если не в пасхальный вечер. Тем более, по словам Дивьера, Борох Лейбов человек сообразительный и не станет зря языком болтать о том, в чьем подвале провел он этот седер.

Стол был снесен, ковры развешаны, бархатное кресло установлено. Расхаживая по просторному подвалу, Шафиров празднично размышлял над тем, куда привел его путь, начавшийся в Египте в незапамятные времена. А вот куда: в Панские ряды московского Китай-города; оттуда все и началось, с той потасовки с Алексашкой. И как Иосиф Прекрасный при фараоне, так и он, Шафиров, стал при Петре... Глухой подвал, убранный восточными коврами, на-

\* Мицве (евр.) — богоугодное дело.

поминал таинственную пещеру, и Шафирову сладко и радостно было чувствовать себя Иосифом — чужеродным еврейским человеком, благодаря уму своему и смекалке поднявшимся высоко и спасшим царя и Россию. А что до фейерверка и арки — ну, что ж: ведь и Иосиф, пожалуй, для завистников-египтян оставался жидовской мордой и Богу своему молился тайком, в таком же, может быть, подвале своего дворца. А водил куда он или не водил фараонову жену — это еще вопрос; надо было, так и повел бы. А что об этом в Библии нет ни полслова — так это понятно: о той прутской ночи тоже едва ли будут в книжках писать. "Государыня пожертвовала ради России своими драгоценностями" — это куда благородней звучит и книжней. Он, Шафиров, знает, чем она пожертвовала; хорошо б, он один. Как тогда сказал покойный Мехмет: "Секреты хранятся в железном сундуке, но и железо против времени не выстоит"... А фараонова жена тоже, надо полагать, была красавица, не хуже Екатерины, только на особьй вкус.

Поймав себя на этой шаловливой мысли, Шафиров потрянул головой в громоздком завитом парике. Придет же в голову, ей-Богу, да еще в такой вечер!.. А и Иосифу Прекрасному, наверно, хорошо и приятно было собираться хоть раз в год со своими, без всяких там египтян. Ну, два раза в год — но не чаще. Сладка конфетка, когда дают редко.

Первым явился Дивьер, осмотрелся внимательно, хмыкнул удовлетворенно. Сказал вместо приветствия:

— Отлично вы все тут устроили, Петр Павлович. И, главное, никто не догадается...

— Кроме Ильи-пророка! — обрадованно подхватил Шафиров. — Вот и кресло для него.

— Это милости просим! — усмехнулся Дивьер. — А вот если родственничек мой Александр Данилыч пронюхает, неприятностей потом не оберешься.

— Вот, завистник! — удрученно покачал головой Шафиров. — Если б зависть его обратилась в жар, все приближенные к Государю давно бы уже от этого жара сгорели в пепел. Он, Меншиков, как жук, точащий дерево, в котором живет! Я ему это и в лицо сказал.

— Напрасно! — лаконично откликнулся Дивьер.

— Ничего не напрасно! — нахмурился, выпятил губы Шафиров. — Мне известно доподлинно, что во многих сражениях он смотрел издали в зрительную трубку, как Нептун с фракийских гор на битву троян с греками.

— Это вы ему тоже сказали? — спросил Дивьер.

— Да! — повысил голос Шафиров. — И это! В лицо!

— Напрасно вдвойне, — сощурился Дивьер.

— Сам знаю, что напрасно, — вздохнув, сознался Шафиров. — Да теперь уж дела не воротишь: сказано, слышано... Зато какое удовольствие я получил, когда глядел в его наглуую рожу! Он покраснел, как вареный рак.

— Ну, если так... — чуть наклонил голову Дивьер. — Это, правда, должно быть, приятно.

— Вот увидите, он себя погубит! — потирая руки, продолжал Шафиров. — Завистник! Мерзавец!

— От таких людей следует избавляться разом, — ровным голосом сказал Дивьер, — либо вовсе их не трогать, даже себе в убыток. Князь Меншиков — весьма злопамятный человек, Петр Павлович.

— Знаю, знаю! — махнул рукой Шафиров. — Но мы еще поборемся! Правда себе дорогу пробьет!



— Правда? — удивился Дивьер и тонкие его неподвижные брови поползли вверх по лбу. — Это вы всерьез?

— А что ж... — опустил плечи Шафиров. — Если повезет...

— Ну да, — сказал Дивьер и, как бы возвращая на место nepозволительно подпрыгнувшие брови, с силой провел по лицу, от лба к подбородку, маленькими смуглыми ладонями. — Повезет-то повезет, да куда вывезет... Я предпочитаю в это везенье не верить и покамест ни разу не ошибался.

— Но в отдельных, счастливых случаях... — вяло оборонился Шафиров.

— Я уж не говорю о моем ведомстве, — желая закончить этот бессмысленный разговор, веско сказал Дивьер, — но возьмем ваше — дипломатическое. Что есть дипломатия? — И выговорил, словно отрубил палашом: — Искусство лжи!

— Да, да, — рассеянно согласился Шафиров. — Великое искусство... — И замолчал, к удовлетворению Дивьера.

— И вы, Петр Павлович, великий жрец этого великого искусства, — уже мягче продолжал Дивьер. — Ваше положение не позволяет вам держаться в тени, да вы этого и не хотите... А правда — что ж правда? Здесь начало и конец правды — царь Петр Алексеевич, и это правильно: не будь этой царской правды, все бы поползло, поехало, как по жидкой глине: состояния, идеи, бревна. И нас, — повысил голос Дивьер на возражающий жест хозяина, — нас с вами эти бревна первыми и раздавили бы.

— Вам, должно быть, видней, — глядя скучно, сказал Шафиров.

— Возможно! — охотно допустил Дивьер. — Давайте

хоть раз в год, хоть в этот вот день не будем лгать... Правда! Правда — дело Божественное, а из нас каждый собственную правду сочиняет либо по расчету, либо по недомыслию.

— А — царь? — округлил брови Шафиров.

— Царь, к счастью, об этом и не думает, — сказал Дивьер. — То, что он делает — это и есть для него единственная правда, небесная. А мы ее потом растаскиваем по кускам, по своим углам, как шакалы. Вы же меня не станете уговаривать, что то, что вы делаете — это и есть ваша, шафировская, небесная правда.

— Предположим, — уклонился Шафиров. — Но вот вы же сами говорите, что царь...

— После Прута царь другим стал, — досадливо шелкнув пальцами, перебил Дивьер: — оглядчив, мнителен. Но, сказать откровенно, это мне по душе: в простоте душевной великих дел не сделаешь, да с такими помощниками, как у него. Тут глаз да глаз нужен, уж вы мне поверьте!

— Почему именно после Прута? — глухо спросил Шафиров и взглянул на Дивьера зорко.

— Возраст пришел, — усмехнувшись чуть заметно, сказал Дивьер. — Зрелость. Новая правда... Но нас с вами это не должно коснуться.

— Вы думаете? — опасливо разведал Шафиров.

— Уверен, — с нажимом сказал Дивьер, — если только мы будем добросовестно служить за деньги, которые нам платит царь. Нам что скажут, то мы и должны делать. И поменьше болтать о нашем новом отечестве — все равно нам никто не верит. Мы для всех как были жиды, чужаки — так и остались. Отечество, в конце концов, не ложка, его с собой по всему свету таскать не обязательно. Россия — это для русского человека

отечество, Петр Павлович. А русский человек своемыслен, он, чем выше стоит, тем сильнее хочет по-своему повернуть, хоть на вершок — а по-своему. И так повернуть, чтоб обязательно и ему теплей было. Хоть бы только о деньгах шел разговор — а то ведь об устройстве государственном, о порядке!.. А мы — дело другое, мы — наемники, прохожие люди, чтоб не сказать проходимцы. Светлейший князь Александр Данилыч, шурин мой, проходимец куда почище нас с вами вместе взятых — но он с в о й : ему можно, нам нельзя. Нам царь доверяет, покуда мы своей волей в высокую политику не лезем. Наше дело, Петр Павлович — не высовываться!

В подвал, откинув ковровую портьеру, шагнул Лакоста. За ним, подобрав полы черной праздничной капоты и наклонив голову в островерхой черной шляпе, шел Борох Лейбов. В руке он держал небольшой холщовый мешок. Взыскательно оглядев убранство подвала и покачав головой скорей осудительно, чем восторженно, Борох направился к хозяину.

— Мир тебе и твоему дому, рэб Шапир! — громко сказал Борох.

Шафиров поморщился, как от внезапного удара зубной боли. "Рэб Шапир" — российскому Вице-канцлеру, Тайному Советнику, управляющему Посольским приказом, кавалеру орденов Польского Белого Орла и Прусского Великодушия барону Шафирову — это слишком даже для пасхального седе-ра! Но Бороха Лейбова болезненная реакция хозяина не смутила ничуть, а, напротив, даже и позабавила: он прикрыл глаза и улыбнулся с видом довольным и внушительным.

— К столу, господа! — желая погасить неловкость, воскликнул Шафиров. — А то мы, пожалуй, прозе-

ваем великий исход из Египта. — Вытянув из кармана золотые часы величиной с табакерку, он отщелкнул крышку, на которой бриллиантами и рубинами был выложен его баронский герб. — Девять без пяти... А это для Ильи-пророка! — указал Шафиров, чтобы Борох Лейбов не перепутал и не сел в бархатное кресло.

Гости расселись, один Борох остался стоять за своим стулом. Шафиров глядел на него с некоторой опаской.

— Ну, так... — сказал Борох, строго глядя. — Парички придется снять.

Лакоста с Дивьером послушно стянули парики, Шафиров же замешкался, как будто бы ему предложили снять штаны.

— Парики носят наши замужние еврейские женщины, — раздраженно, как непонятливому ребенку, объяснил хозяину Борох Лейбов. — Еврейские мужчины носят ермолки. — Он глубоко сунул руку в свой холщовый мешок и вытащил оттуда три черные шелковые ермолки.

Неприметно вздохнув, Шафиров стянул парик и напялил ермолку на плешеватую круглую голову. Борох следил за ним внимательно. Под пронзительным, кипящим взглядом гостя в Шафирове почти ничего не осталось от вице-канцлера и кавалера орденов: он вдруг стал похож на пожилого, не совсем здорового еврея — торговца или корчмаря. Он не испытывал неприязни к Бороху Лейбову — а только замешательство пополам со страхом, как перед неуправляемым и сильно возбужденным чем-то человеком, который неизвестно что сейчас сделает: крикнет или бросится.

А Борох молился скороговоркой, резко покачивая верхней половиной туловища.

Помолившись, он, наконец, сел и, обведя глазами богатый стол, спросил:

— Кошерна ли пицца?

— Поросятины сегодня нет, — поспешно дал справку Шафиров. — Но, вы сами понимаете, полного ручательства дать не могу...

Дивьер, поглядывая то на Бороха, то на Шафирову, улыбался, не разжимая губ. Он вовсе не боялся требовательного гостя. Лакоста же был серьезен и немного уныл.

— Есть ли в доме опара? — нетерпеливо перебил Борох. — Дрожжевой хлеб? Пиво?

— Есть, — сказал Шафиров и, вздохнув, виновато пожал плечами.

— И это называется еврей! — с укором сказал Борох Лейбов. — Ребойнэ шелойлем, рэб Шапир... Ну, так! — Он решительно отодвинул прочь от себя куверт, задрал скатерть и, снова глубоко сунув руки в холщовый мешок, извлек оттуда свою еду: рыбные тефтели, шматок мяса, хрен в баночке, соль, повидло, литровый шгоф и стопку мацы. Разложив и расставив все это перед собою на голой полированной столешнице, он с вызовом покосился на хозяина.

— Маца у нас есть, — глядя на скудные припасы Бороха Лейбова, сконфуженно выговорил Шафиров. — Замечательная маца... Вот! — он указал на серебряное блюдо, покрытое белым шелковым платком с золотой вышивкой: звезда Давида и львы.

— Вы ешьте свою замечательную мацу, а я буду есть свою замечательную мацу, — упрямо сказал Борох Лейбов. — Еврей должен есть на Пейсах мацу, даже если она некошерная. Это лучше, чем ничего. — Про-

тянув руку, он щелкнул ногтем по краю серебряного блюда и поощрительно вслушался в нежный долгий звон. — Чистое серебро. Хорошая вещь. Ей место в синагоге или на столе цадика.

Шафирову сделалось неловко. "Вот, мне неловко, — растроганно подумал он. — Кто бы мог себе это представить: какой-то псих, фанатик вогнал меня в краску. Мой дед Шафир, наверно, был такой же, и тоже из-под Смоленска... Надо будет пожертвовать это блюдо на синагогу, инкогнито, разумеется".

Дивьеру надоел Борох Лейбов. Откинувшись на спинку стула и полуприкрыв глаза, он тихонько запел пасхальную песенку о белой козочке:

Эхат гадя, эхат гадя,  
Эхат гадя!

— Перестаньте! — взмахнув руками, прикрикнул Борох. — Вы не знаете порядка?! Я скажу, когда надо будет петь.

Шафиров и Лакоста укоризненно поглядели на Дивьера; тот, досадливо удивляясь самому себе, замолчал на полуслове и, не зная, что предпринять, уставился на принесенный Борохом штоф.

— Это пейсаховка, — подняв штоф двумя руками, сказал Борох Лейбов, — мы все будем ее пить. На Пейсах еврей должен пить пейсаховку. Спрашивается: откуда у рэб Шапира возьмется пейсаховка? Сказано: если из дома перед Пейсах не выметена опара — обойди этот дом стороной... Ну, так: вы плохие евреи, но вы, все-таки, евреи. Плохой еврей лучше хорошего гоя. И я пришел, чтобы сделать мицве и провести с вами сейдер.

Шафиров засопел, низко облокотившись о стол. Он был уверен, что это он, Шафиров, сделал мицве,

пригласив на пасхальный вечер бедного еврея из Звэрятичей, и он не собирался расставаться с этой своей приятной уверенностью.

— Теперь вы повторяйте все вместе за мной, — продолжал Борох Лейбов, — а потом, когда я скажу, повторяйте каждый в отдельности... — Из холщового мешка он достал истрепанную книжку, открыл ее и, почти не заглядывая в текст, начал: — Ну, так. Рабами были мы в земле Египетской, и Бог, Господь наш, вывел нас оттуда рукою крепкою.

Он читал долго, по ходу чтения беря на язык то щепотку соли, то волоконце хрена, то каплю повидла. Закончив читать, он отодвинул книжку и сказал:

— Теперь можно выпить по глотку.

Пейсаховка оказалась крепчайшей, и это вселило в голодного Дивьера приятные надежды. Шафиров, выпив, тоже оживился, смачно крякнул и потянулся за закуской, но Борох Лейбов, нагнувшись над столом, шлепнул его по руке.

— Очередь еды еще не пришла! — морщась, как от горького, сказал Борох Лейбов. — Терпите! Еврей должен терпеть, и тогда он поймет, что он настоящий еврей.

— Да, надо терпеть, — эхом откликнулся Лакоста и поправил на голове сбившуюся ермолку. — Ничего не поделаешь...

— Бунтующие против терпения подобны баранам и козлам, — поддержал Лакосту Борох и, привычно воздев руки, приставил их к голове наподобие рогов. — Бунтовать можно только против гонителей нашей веры, и это — мицве.

— И вы бунтуете? — с любопытством спросил Дивьер.

— И я бунтую, с Божьей помощью, — подтвердил

Борох Лейбов, неприязненно взглянув на Дивьера. — И я во славу Божию открою хедер у нас в Зверятчах, и евреи, — тут он перевел взыскующий взгляд на Шафирова, — все евреи мне должны помочь!

— Ну, конечно, конечно! — облегченно воскликнул Шафиров, дождавшийся, наконец, просьбы от своего сурового гостя и сразу почувствовавший себя более уверенно. — Мы поможем вам деньгами — инкогнито, разумеется — а вы открывайте там у себя под Смоленском хедер.

Борох Лейбов, однако, ничуть не потеплел, голос его звучал по-прежнему сухо:

— Сказано: безымянный жертвователь более угоден Богу, чем назвавшийся... Ну, так: повторяйте за мной, рэб Шапир: И наслал Бог, Господь наш, морую язву на египтян, детей фараоновых...

В коридоре, ведущем к подвалу, отчетливо прозвучали приближающиеся шаги.

— Кто это? — быстро спросил Дивьер.

— Илья-пророк, — повернув голову, тревожно пошутит Шафиров.

Ковровая портьера с треском отпахнулась. На пороге, потирая ушибленный о низкий косяк лоб, стоял Петр. Оглядев из-под кулака в ужасе повскакавших из-за стола людей, он довольно усмехнулся произведенному замешательству. Потом, тяжело ступая по коврам, прошел к голубому бархатному креслу, глубоко в него опустился и удобно разбросал длинные ноги.

Шафиров, открыв рот, немо уставился на царя в кресле. Дивьер покусывал тонкие губы, желваки его прыгали под кожей. Лакоста и Борох Лейбов, глядя в разные стороны, шептали молитвы.

— Что ж это, вы тут гуляете, Пасху свою жидов-



скую празднуете, а меня и пригласить забыли! — с шутливым укором сказал Петр. — А мне на вашу Пасху поглядеть весьма любопытно и даже полезно для общего знания... Налей-ка мне, барон, вот из этого! — Петр вытянутым пальцем указал на штоф.

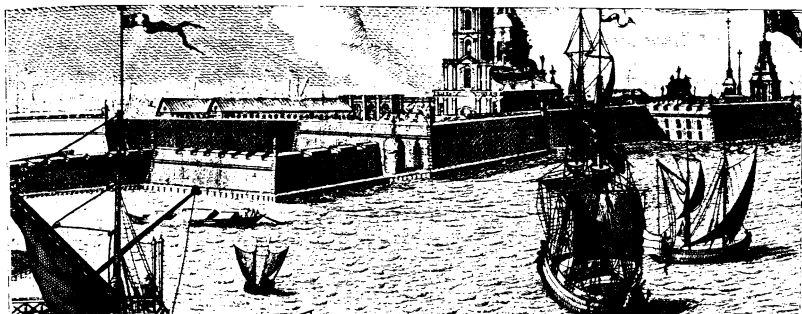
Неверной рукой Шафиров нацедил пейзаховки в серебряный кубок и подал царю. Петр выдохнул, перекрестился и одним длинным глотком опрокинул водку в рот.

— Хороша! — отфыркнувшись, похвалил Петр и, поискав по столу глазами, схватил лежавший перед Борохом на тряпиче кус мяса и вгрызся, зажевал. — А вы что остановились? Продолжайте!

Медленно, натужно согнулся Борох Лейбов над своим мешком, выудил оттуда черную ермолку и молча протянул царю. Шафиров побелел, ему нечем стало дышать. Продолжая жевать, Петр с интересом повертел в руках убор, заглянул вовнутрь его и, ничего там не обнаружив, кроме сала и перхоти, надел на голову.

— Ну, так, — настороженно взглянув на царя, сказал Борох Лейбов, — кто хочет, может за мной повторять: И послал Бог, Господь наш, моровую язву на египтян, детей фараоновых...

Более всего Шафирову не хотелось, чтобы Борох Лейбов назвал его сейчас "рэб Шапир".



## 9. МАША-РИВКА. 1715

**Х**утор Еловый Шалаш или, попросту говоря, Шалашок стоял в полуперегоне от Санкт-Петербурга по московской дороге, в стороне от нее, в лесу. Хутор состоял из вместительной избы за крепким бревенчатым забором, похожим на крепостной, с заостренными сверху лесинами, и дворовых построек: разгороженного тонкостенными перегородками на клетушки сеного сарая, конюшни и бани. Говорят, был здесь когда-то и еловый шалаш посреди двора, встречала там заезжих гостей чаркой водки отборная цыганка — но та цыганка то ли померла, то ли свел ее со двора прохожий человек, а шалаш, как развалили его по причине наступления осенних дождей и холодов, так и не возобновили: по лености или по ненадобности. Но когда это случилось — десять лет назад или в запрошлом году — молва не донесла.

Нынешняя осень тоже выдалась ветреная, ранняя. Ветер наметал палые листья во двор хутора; сек мелким нудным дождем стены и окна избы. Изнутри теплой избы, впрочем, дождь уже не казался нудным, и даже хотелось назвать его "дождик" — оттого, мо-

жет быть, что для вошедших в дом и вольно рассеявшихся за обильным столом мужчин мерзкая водяная канитель не составляла больше никакой досады. И не без мягкой, чуть насмешливой жалости думалось им над стаканом вина о тех, кто трясется сейчас "под дождиком" по дороге сюда, в Шалашок.

А тряслись: молодой, безусый еще князь Василий Гагарин, да Туляков, да кавалер Рене Лемор. Остальные были здесь: ядреный гуляка Растопчин, Головин, Кривошеин. Среди всех один ядреный Растопчин перевалил за тридцать; лицо его, иссеченное шрамами и морщинами, с выпуклыми татарскими скулами, было чайного цвета, плоские черные усы топорщились щеткой. Федор Растопчин пользовался в среде товарищей славой бывалого человека и приятно легкого на подъем.

В ожидании путников Никита Кривошеин с Растопчиным и Головиным попивали романею и без нетерпенья поглядывали в серые окошки. Хозяин хутора Семен, не приближаясь к гостям, высовывал то и дело лобастую плешистую голову из кухонной двери и взыскательно оглядывал стол: что подать, что убрать. Все нужное, все уместное было там, и Семен своими круглыми зоркими глазами темные бутылки, раскоряченные куриные тушки со вздыбленными задками и кочны квашеной капусты разглядывал с тем же пристальным и доброжелательным выражением, что и лица гостей, тоже ему хорошо знакомые.

Востроглазый Семен был единственным, кто доподлинно знал историю хутора Шалашок. Он и рассказывал ее гостям, охотно и кудряво, и всегда по-разному. То его хутор стоял на месте древнего чухонского капища, и вот на этом как раз камне каж-

дый четверг, в шесть часов утра, главный чухонский священник Чумынь приносил жертву богу Карыге — черноглазой девице вспарывал костяным ножом брюхо от непоказного места до грудной кости. То девицу никакой Чумынь не запарывал — а пускали к ней в шалаш, который вот здесь, на месте сенного сарая, и стоял, — пускали к ней с шести часов утра по четвергам же специальных силачей и удальцов чухонского племени, и они, эти молодцы-удальцы, числом сто и один, до тех пор толкли Черноглазую, пока она, обливаясь светлыми слезами, не отдавала душу богу Карыге. Судьба цыганки, со слов Семена, тоже выходила неоднозначной: то ли она, отпустив сто и одного удальца-молодца, померла родами, то ли, с разрешения и благословения самого Семена, подалась в цыганскую землю и взошла там на царство, но непременно будет обратно, потому что женская природа свое берет, а где ж, как не в Шалашке, эту природу и улещивать — не в цыганской же земле, если там мужики жрут одну вишню! Вот, на той неделе, может, и появится, можно ждать...

Слушателей, начиная с ядерного Растопчина, всего боле трогала история Черноглазой в шалаше; каждый помещал себя в то героическое и увлекательное, не в пример нашему, время, и само собой получалось, что именно он, с его сноровкой и силой, служил причиной последних светлых слез красавицы Черноглазки. Что же до отборной цыганки — да, ее ждали, ждали терпеливо и привычно, каждый раз справляясь у Семена, не явилась ли еще восояси и придиричиво сравнивая ее несомненные, но воображаемые достоинства с тяжеловесными прелестями обитательниц клетушек сенного сарая.

Эти пригожие обитательницы, неприметно скучая,

изо дня в день выслушивали мудреные разговоры гостей о предметах возвышенных: государственном великом переустройстве и повреждении нравов, на первый взгляд огорчительном, но, если взглядеться попристальной, передовом и несомненно отрадном. В качестве примера неизменно приводился в конце концов Шалашок с его Маньками, Катьками, Любками и особенно Марфуткой, слывшей стараниями плешивого Семена то ли сестренкой, то ли племянницей отборной цыганки и пользовавшейся по этой причине исключительным спросом, вплоть до очереди. Впрочем, дружеское молодецкое соперничество никогда не переходило здесь в подколотную ревность; мордобития случались редко.

— Эй, Семен! — отведя взгляд от окна, хлопнул в ладоши Растопчин, и хозяин Шалашка немедля внырнул из кухни в зало как бы даже с разбегу. — Кличь, что ли, шалашовок! А то скучно у тебя: дождик да дождик.

Готовно беря на себя перед гостями ответственность и за дождь, выливаемый небесами на хутор, Семен кивнул плещастой головой и шагнул в сени. Гости с интересом глядели, как он, подобрав полы кафтана, шлепал через двор по лужам к сенному сараю и как оттуда, в ответ на его зов, высыпали девки и, прикрываясь платками, с визгом побежали к избе. Услышав приятный визг, ядреный Растопчин сожмурил глаза и медленно, задумчиво улыбнулся. Улыбка у него была нежная, почти детская.

Девки, числом пять, расселись вдоль стен и подходили оттуда к столу по одной, по зову. То были плечистые, крепкие девки, коротконогие, как рабочие лошадки, с приятными глуповатыми лицами. Они наполнили комнату не столько шумом голосов

(до поры они перешептывались, прикрывая почему-то рты ладонями, как будто ковыряли в зубах), сколько мельканьем просторных пестрых одежд, мельтешеньем, от которого мужчины чутко насто-раживались и глаза их, утрачивая безмятежное сонное выражение, наливались блеском отточенной стали, обмокнутой в масло.

— А Марфутка где? — потребовал Растопчин.

— Чичас придет, — пообещал Семен. — Она, сами знаете, господин капитан, когда не надо, на кроватях лежит, а когда надо ее и не докличешься. — И добавил самохвально, с твердостью в голосе: — Отменная девица!

Согласно хмыкнув, Растопчин недолго помолчал, а потом, перегнувшись через спинку стула, позвал: — Катька! — И еще: — Манька!

Девки проворно подошли, сели на краешки стульев по сторонам Растопчина.

— Выпьем! — сказал Растопчин. — А то скучно: дождь да дождь. Скиснуть можно.

— И вы, красавицы, и вы! — легко картавя, пригласил оставшихся Никита Кривошеин. — Мы все будем пить: дождь для всех, и вино для всех... Нет-нет, голубушка, ты садись-ка вот сюда, подальше, а это место оставь для прелестной Марфутки.

Скосив глаза над стаканом, Растопчин не без досады оглядел место, забронированное предприимчивым Кривошеиным.

— Я прошу вас, господа, обратить внимание на все это! — сказал Головин и, кругло поведя рукою, опустил ее на плечи Любки. — Простая изба, грубая пища, нравственно здоровые девицы — вот это и есть истинное единение с нашим замечательным многострадальным народом. И это, если хотите, черта времени:

в эту проклятую погоду мы тащимся в медвежий угол, чтобы окунуться в народ.

— Окунешься, граф, окунешься, — уверенно согласился Растопчин. — А, Любка?

— Что ль, пожар? — благоразумно заметила Любка. — Вон, свет еще на дворе-то... Успеется!

— Я совершенно серьезно, господа! — продолжал Головин. — Мы живем в историческую эпоху: старый, дряхлый мир сломлен, новый наступил. И не только в том дело, что мы догнали высокомерный Запад и производим теперь преотличные сукна и даже иголки. Мы совершили нравственный переворот! Да вот хотя бы взять этот наш Шалашок: каких-нибудь двадцать лет назад разве это было мыслимо — вот так непринужденно сидеть и рассуждать с Любкой или там с Марфуткой...

— С прелестной Марфуткой... — назидательно вставил Никита Кривошеин.

— ...и благодарно чувствовать себя среди народа, — кивнул Головин. — Ведь народ — наша опора!

— Не правда ли, Любка? — ввернул неугомонный Никита Кривошеин, изрядно принявший романи и раскрасневшийся.

— Как изволите, барин! — повела дородным плечом Любка; от этого ее жеста обнимающая рука Головина упала и ударилась о лавку с неприятным стуком.

— Вот ты всегда так! — бездосадливо наморщил лоб Головин. — А ведь мы все, все, — он обвел ушибленной рукою товарищей, девок и плешастого Семена, — русский народ, и вот это-то и замечательно! Мы — одна плоть, одна кровь, да и душа...

— Плоть — это чего? — коснувшись красными губами чайного уха Растопчина, шепотом спросила Манька.

— Мясо это... — объяснил Растопчин, шлепнув Маньку по тяжелому задку. — Мясо — да, а душу ты, Головин, все же сюда не подмешивай. Вон у Семена, скажем, душа — где? В кармане. А у Маньки? — он снова охлопал девушку. — Известно, где.

— И все же ты неправ! — не сдался Головин. — Конечно, твоя душа или моя стоят выше Семеновой или там Любкиной...

— Прелестную Марфутку я попрошу не задевать, — немедля предостерег неугомонный Никита Кривошеин. — Она, несомненно, царского рода, хоть и цыганского. А тебе, Головин, это все так близко и интересно, потому что сам ты недавно из народа... Сколько лет вашему дворянству? Для нас, Кривошеиных, народ — он и есть народ, и не более того. Скопление людей.

— А как же... — не нашелся на сей раз Головин. — Да как же...

— А время наше, действительно, передовое, — неторопливо продолжал Кривошеин. — Раньше мы девок выписывали из деревенок и селили где-нибудь под лестницей, а теперь ездим в эту прелестную дыру. Но вот почему мне нравится сидеть в халупе, за грязным столом — этого я, право, не знаю и понимать не хочу.

— Это и есть веяние времени, — рассудительно заметил Растопчин, довольный тем, что разговор отошел от неприятной для него темы дворянской родовитости. — А насчет народа ты, Кривошеин, прав: после стакана романи мы начинаем о нем рассуждать на всякие лады.

— Хорошо еще, что после романи! — поддержал Кривошеин. — А то, по новым временам, начнут рассуждать и после чая с жамками.



— А народ водки выпьет, ладошкой утрется и, долго не рассуждая, спать идет, — заключил Растопчин и оглянулся на дверь. — Но где же, все-таки, Марфутка? Идет, что ли?

Вместо Марфутки в избу вошел, горбясь в мокром платье, кавалер Рене Лемор.

— Эта чертова русская погода! — раздраженным тоном, с милой улыбкой на чисто белом, как будто стеклянном лице сказал Лемор. — Но как славно, что я уже здесь... Гагарин с Туляковым сейчас будут, я их обогнал.

Кавалер Лемор, внучатый племянник французского посланника, отличался изящной хрупкостью сложения и веселым нравом. Человек небогатый и склонный, по определению Никиты Кривошеина, к патологической бережливости, Рене пребывал в постоянном искреннем восхищении своими безоглядно щедрыми русскими друзьями; он готов был проводить с ними все свое время в разъездах по гостям, пьянстве или легких разговорах. Его обаятельная, чуть глуповатая в сочетании с бегающими навывкате глазами улыбка стала притчею во языцех в среде Санкт-Петербургской великосветской молодежи, в гульливой и шаловливой ее части. "Лыбиться, как Рене" — это означало быть славным парнем без особых качеств, столь обременительных в мелькающем веселом многолюдстве, и совершенно незаменимым в хмельном застолье, переходящем в разгульное пьянство и обжорство. Попытки французского посланника пристроить его к какому-нибудь достойному делу не увенчались покамест успехом: не отрицая пользы служебных занятий, кавалер, однако, более уповал на удачный брачный союз с богатой и красивой наследницей,

но и с этим по приятной ветрености характера не спешил.

— Гагарина с Туляковым ты обогнал, друг Рене, а нас — садись-ка, догоняй! — наливая вина в низкий и широкий стакан, сказал Растопчин. — Или, может, водки тебе?

— Пожалуй! — кивнул головой кавалер. — Озяб я...

— Согреем! — с приятной убежденностью сказал Растопчин, радуясь и появлению Рене Лемора, и что можно, наконец, покончить с наскучившим ему разговором и отдать должное доброму веселью. — Эй, Семен, будь ты неладен! Что там с музыкой?

— Чичас! — вильнул тяжелой головой Семен. — Готово!

И, действительно, по хозяйскому знаку явился из кухни заспанный чернявый мужик с большим разлапистым носом, не вполне трезвый. Подняв к подбородку скрипку, он сосредоточенно скосил глаза к деке и скользящим движением опустил смычок на струны. Семен тем временем подхватил из угла балалайку, вздернул ее к груди и колупнул струны граненым квадратным ногтем. Девки чинно потянулись из-за стола — плясать. Подбоченившись и поводя плечами, они лениво поплыли по комнате, как утки по пруду, по-утиному вытягивая гдадко причесанные головы с толстыми косами.

— Живей! — потребовал Растопчин и ударил в ладоши.

Но девки и без понуканий, сами приходили понемногу в охоту, били в пол каблуками и, развевая широкие подолы, с отрывистыми взвизгами поворачивались на месте. Первоначальное отсутствующее выражение на их лицах сменилось довольными улыбками, рты приоткрылись, раздулись ноздри, трогательные

бисеринки пота проступили на чистых выпуклых лбах. Семен с чернявым мужиком заиграли громче, наяристей. Зорко глядя на девок, гости тихонько при-топывали под столом в такт музыке.

Никто из них не заметил, как приоткрылась входная дверь, пропуская поджарую по-цыгански Марфутку. За нею, мягко ступая, вошла рослая, на полголовы длинней Марфутки, дородная молодая девка с круглым нежным лицом. За женщинами, стуча когтями по струганым доскам пола, проскочила грязная черная собака величиной со стриженую овцу. Клацнув зубами, собака скоком вынеслась на середину комнаты, и пляшущие смешались, неловко кинулись каждая в свою сторону. Мужчины повскакали из-за стола. Чернявый мужик, вздохнув, опустил скрипку и смычок.

Отведя Марфутку плечом, рослая девка широко шагнула, выпростала руку из-под лиловой шали и, ухватив пса за тощий загривок, легко, как кошку, оторвала его от пола. Вслед затем, отведя голую по локоть, налившуюся вдруг белой мраморной силой руку, она швырнула сучащего ногами пса в дверь, резко распахнувшуюся от удара.

Мужчины освобожденно засмеялись, разглядывая силачку. Чернявый мужик, почувствовав на себе острый взгляд Семена, сунул скрипку под подбородок и заиграл. Притопывая и поворачиваясь на ходу, девки, не спеша, потянулись из своих углов.

— Вот это да! — держась за стакан, потрясенно пробормотал Головин. — Новенькая! Звать тебя как?

— Агашка! — бархатным низким голосом сообщила силачка и, подведя скрещенные руки под тяжелую шаткую грудь, вплыла в круг, как лебедь в утиную стаю.

— Ей бы не плясать, а с медведем бороться! — то ли критически, то ли восторженно заметил Никита Кривошеин. — Очень, оч-чень!.. И все же мои симпатии по-прежнему принадлежат прелестной Марфутке: понятия красоты и очарования для меня незыблемы

— Кривошеин, да ты просто ретроград! — не сводя с Агашки глаз, осудил Головин. — Да ты сам погляди!

Осуждение, казалось, было приятно Никите Кривошеину; он усмехнулся с довольным видом.

— Ретроград, ретроград... — повторил он, прикартавливая раскатисто. — А что: это звучит приятно. И, потом, кто-то же должен быть ретроградом! Так кому ж, как не мне, и быть.

— Ты все шутишь, Кривошеин... — выбираясь из-за стола, сказал Головин.

— Она, действительно, своеобразна, эта Агашка! — заметил Растопчин.

— В высшей степени! — охотно согласился Кривошеин. — Если б у ней на голове рос тайный уд — она была б еще своеобразней... А что, господа! В старые времена кумирами толпы или, как мы нынче это называем, народа были люди знатные и богатые. Вправь кто-нибудь в шапку жемчужину с детский кулачок — вот он уж и кумир: все о нем говорят. Нынче знатность ни к чему и даже иногда вредит: нынче кумир — Меншиков. А завтра какая-нибудь танцорка с тайным удом на голове будет у всех на устах... Эй, Марфутка, все о тебе, бедняжка, забыли! Ну, иди, иди сюда.

— А ты что скажешь, Семен? — спросил Растопчин, оборотившись к хозяину. — Это ведь ты нам такой сюрприз припас!

— Нам хучь бы пес, абы яйцы нес, — голосом внятным и ровным сказал Семен.

Головин танцевал, прерывисто дыша, охватив прямую и круглую, как древесный ствол, Агашку.

Устроившись на коленях у Кривошеина, с пригоршней сахарных орешков в смуглой узкой ладошке, Марфутка пасмурно и не без зависти поглядывала на силачку.

С улыбкой доброжелательной и отчасти иронической смотрел Рене Лемор.

Ошарашенно смотрели, застряв в дверях, наконец-то приехавшие Гагарин с Туляковым.

Агашка возвышалась над кругом танцующих, как диковинная недосыгаемая скала над холмами. И эта ее недосыгаемость манила и распалаяла мужчин. Эта диковинная недосыгаемость и совершенная доступность.

Успокоились лишь спустя малое время после того, как Головин, с лицом обреченным и немного торжественным, как перед публичной казнью, увел Агашку в сенной сарай. И снова поскакал разговор с камня на камень.

— По мне, так она немного великовата, — сказал Гагарин, жуя моченую сливу. — И это лицо ангелицы...

— В точку попал! — воскликнул Растопчин. — Вот именно, что не дьяволицы, а ангелицы!

— Бедный Головин! — пересаживая Марфутку с затекшего левого колена на правое, сказал Никита Кривошеин. — А он, быть может, сейчас как раз счастлив в объятиях народа.

— Знаете, господа, — сообщил Туляков, — в Санкт-Петербурге появился объект не менее замечательный...

— Кто? Кто? — послышались голоса.

— Машенька Лакоста, — сказал Туляков.

— Шута дочка? — с самодовольством всезнания уточнил Растопчин. — Жидовочка?.. Знаем, знаем...

— Прелестная жидовочка! — поправил Никита Кривошеин. — Я ее вот с Рене видел у Дивьера: очень хороша. А, Рене?

При упоминании Дивьера Семен подобрался и навострил уши.

— Да, — кивнул головой Рене. — Но — дочь шута. Это как-то... настораживает.

— Вот еще! — возмутился Растопчин. — А Агашка! Головин у нее не спрашивал, что ее папаша делает: рыбой торгует или огород городит.

— Какой огород? — не понял Рене.

— Какой, какой... — отмахнулся Растопчин. — Такой! Я это к тому говорю, что нет никакой разницы, кто у ней отец, кто мать — была б сама хороша. Это если жениться — тогда другое дело.

— Жениться я на ней не могу, — покачал головой Рене. — Шут нищ, я справлялся. У него, кроме жалованья да какого-то дурацкого необитаемого острова, ничего нет. Правда, он приятель Дивьера...

Семен снова насторожился, взгляд его сделался напряжен.

— С Дивьером лучше не связываться, — заметил Гагарин.

— Так дочка-то эта, Машенька — не Дивьерова, а шута! — разъяснил положение Туляков. — А что они друзья — так за ней нельзя и приволокнуться? Ну, это, господа, уже слишком: мы, как-никак, живем в восемнадцатом веке!

— Если б не шут, я бы на ней, пожалуй, женился, — прикинул Рене Лемор. — Но называться зятем шута — это, согласитесь, как-то неловко для дворянина.

— Жениться следует только по взаимной симпатии, —

сказал Никита Кривошеин. — Вот у нас с прелестной Марфуткой взаимная симпатия и мы с ней сейчас пойдем и поженимся.

— Ну, тут-то никакой помехи бы не было! — воскликнул Рене. — Жидовочка в меня влюблена без памяти.

— С чего это ты взял? — недоверчиво покосился Растопчин.

— Я знаю женщин, — наклонив голову к плечу, сказал Рене Лемор. — Я по одному взгляду могу определить.

— Спорю на дюжину шампаней — ты там ничего не добьешься! — покраснев, крикнул Туляков.

— А ты, Туляков, на этом сладком деле, кажется, уже хватил горечи! — прищурился из-за Марфуткина плеча Никита Кривошеин. — Добавляю к спору еще дюжину.

Растопчин подумал и тоже прибавил полдюжины.

— Мне это что-то не нравится, — сказал Гагарин. — Она, в конце концов, не собака, не лошадь и не дворовая девка. Она почти из нашей среды. Да и жид Лакоста — не Вытащи и не Кабысдох, хоть и шут.

— Но ведь это только шутка! — безмятежно улыбнулся Рене. — И потом мы все вместе разопьем шампанею здесь, в Шалашке. Послезавтра, а? Вечером?

— Ну, это мы еще поглядим... — процедил Туляков.

Появление дико улыбавшегося Головина и огромной Агашки — круглолицей, раскрасневшейся — положило конец этому спору.

Гости разъехались в четвертом часу утра.

Востроглазый Семен явился с доносом к Дивьеру в половине девятого.

Дивьер разыскал Лакосту в шесть вечера.

А за час до этого, в пять, крытый возок отъехал от Лакостовой избы. В возке бок о бок, тесно, сидели Рене Лемор и Маша. В ногах у седоков помещался сундучок с Машинными вещами на первую надобность. Рене Лемор ехал налегке.

— Ну, вот, — сказал Рене, когда возок, миновав окраинные кособокие бараки, въехал в тяжелую тьму лесной дороги, раскисшей от дождей, скользкой. — Вот мы почти и счастливы, как я обещал: тьма, тесный возок и мы, Машенька, в этой уютной тесноте — чужие этой варварской стране и потому такие близкие друг другу. Прекрасная Франция ждет нас!

Машенька шмыгнула носом и едва удержалась, чтоб не расплакаться. Франция ждет! Ждет родовой замок благородного кавалера Рене Лемора, ждут его добрые родители, которые никогда не узнают, что она, Машенька — дочь шута!.. И до огненного жжения было стыдно перед отцом, перед шутом Лакостой.

А Рене Лемор вдруг, со сладким спазмом в горле, поверил в то, что кто-то где-то его ждет, что в несуществующем замке несуществующие слуги готовят брачные покои для возвращающегося из варварской России молодого хозяина. Ему так хотелось в это верить, вот он и поверил! Они только переночуют на омерзительном постоялом дворе, а потом поедут в прекрасную Францию, где столько великолепных замков и преданных, предупредительных слуг.

— Мы поженимся, как только приедем во Францию! — совершенно искренне сказал Рене. — Вот увидишь, мои родители тебя полюбят. Летом мы будем жить в замке, а зимой — в Париже, в нашем дворце.

— Ты себе даже не представляешь, как ужасно быть



дочерью шута, — сказала Машенька благодарно. — Все шушукаются за твоей спиной, как будто ты дочь палача...

— Поскорей позабудь об этом! — решительно предложил Рене, и ему показалось, что, действительно, в его силах оградить Машеньку от ядовитого шепота — и так он непременно и сделает. — Теперь ты мадам Лемор, и я сумею тебя защитить... Почти мадам Лемор, — мягко и значительно поправился он и, взяв руку девушки, поцеловал ее пальцы, а потом запястье — так высоко, как позволял огорчительно узкий рукав платья.

Наткнувшись на преграду в виде рукава, Рене соответственно обстоятельствам сменил тему и легко, увлеченно заговорил о рукавах, вырезках, кружевах и подолах, мужских и дамских. Машенька слушала внимательно: надо было многому научиться, прежде чем явиться во французский замок.

— Мой батюшка педант по части этикета: переодевается по три раза на дню, даже если гостей никого нет и он один в целом замке, — сказал Рене, решительно отменяя неприятные воспоминания о том, что батюшка много лет назад был взят в тюрьму за долги и умер в заточении от разлития желчи.

— Я научусь, — жарко пообещала Машенька, — я всему научусь, вот увидите. — Она испытывала к Рене Лемору захлестывающую безответную благодарность, почти как к Богу — за то, что увозит ее из России во Францию, что женится на ней, шутовской дочке. Она готова была безоглядно сделать для него все, что он захочет — будь то стыдно, позорно или больно. Шута Лакосту, отца, она уже предала ради него — Рене на коленях уговаривал ее не говорить ему ни слова об их тайном отъезде во Францию, и она

послушалась: отцу скажут потом, когда приедут в замок и все уже будет позади. И, хотя отец будет плакать и рвать на себе волосы — прав все-таки Рене: ведь здесь, в России, кавалер Лемор не может жениться на дочери шута. И если кто-нибудь виноват в том, что произошло и еще произойдет — так это он сам, отец: зачем стал царским шутком, зачем сделал дочь отверженной и несчастной? Конечно, это он во всем виноват!

К постоялому двору подъехали в совершенной тьме. На стук дверь замызанной избы отворил сонный хозяин, угрюмо корябавший патлатую голову. "Вшей тут наберешься, — озабоченно подумал Рене Лемор. — А то своих не хватает..."

Следом за хозяином, несшим сундучок, они вошли в тесную каморку с дощатыми стенами, не достающими до потолка. Кроме них, на постоялом дворе никого не было. Хозяин, покачивавшийся то ли со сна, то ли по нетрезвому делу, грохнул сундучком об пол у широкого топчана, застланного линялым лоскутным одеялом.

— Плата двойная, — сказал почему-то хозяин.

— Ладно, ладно! — прикрикнул Рене Лемор. — Ишь, ты! Ступай отсюда...

Лавки здесь не было, поэтому Машенька присела на краешек топчана. Так хотелось очутиться сразу в замке, минуя этот мерзкий и страшный постоялый двор! Но она не решилась сказать об этом Рене Лемору.

А Рене вдруг заторопился, стал суетлив. Ни о кружевах он больше не заговаривал, ни о замке.

— Духота здесь, — сказал Рене. — И воняет чем-то... Завтра встанем чуть свет, поедем дальше. А ты ложись, ложись пока, я отвернусь. — Подбежав к

лучине, он наклонился над ней и прицельно плюнул. Лучина зашипела и погасла.

В безысходной тьме Машенька откинула одеяло и поползла по широкому топчану к бревенчатой стене.

— Одежду снимите! — сухо, как чужой человек, указал Рене.

Машенька послушалась, подчинилась. Она не испытывала ни стыда — темно ведь, ни страха, ни любопытства. Стягивая платье, она с коротким, сдавленным вздохом подумала о том, что надо, все же надо было сказать отцу об отъезде во Францию — и тогда, наверно, эта грязная изба не показалась бы ей такой грязной и отвратительной. А потом затрещал топчан, как будто на него свалилось с неба бревно, и неприятно холодные руки Рене пошли гулять по Машенькиному телу — походя стискивая, царапая, раздвигая.

Машенька проснулась от стука посуды в соседней большой комнате, от звука голосов. Серый свет мерцал в окне, затянутом тусклым бычьим пузырем.

Машенька была одна на топчане, одна в каморке. Натянув повыше одеяло и оглядевшись, вглядевшись в сумеречные углы, она позвала:

— Рене!

И дверь тотчас приотворилась, и в проеме появилась патлатая голова хозяина.

— Уехал твой Хрене, — глядя дерзко и насмешливо, сказал патлатый. — Вставай, барынька, плати да поезжай.

— Как уехал? Куда? — опешила Машенька.

— А вот не доложился! — Патлатый осклабился, в щачобе бороды сверкнули отменные волчьи зубы. — Взял возок да и поехал... Деньги-то у тебя есть — платить?

— Сейчас, — сказала Машенька. — Минуточку только...

Она не готова была ни топиться, ни вешаться. Она хотела сейчас только одного: вернуться домой, к шуту Лакосте, к отцу. И, торопя время, глядела она, как Патлатый рылся в ее сундучке, отбирая одежду в уплату за ночной постой.

Домой, в Санкт-Петербург, она добралась после полудня. Лакоста — растрепанный, с тяжелыми красными глазами — молча обнял дочь и, пряча от нее лицо, несколько раз крепко, до боли сжал веки.

— Ничего... — сказал Лакоста. — Ничего... — Руки его легко перелетали с головы дочери на ее плечи, обратно на голову, на щеки. Машенька вспомнила рыскающие руки Рене и заплакала.

— Ничего, ничего... — повторял Лакоста. — Я все устрою, деточка. Я все сделаю.

— Он обещал... — сказала Маша, едва смыкая плачущие губы. — А я... А теперь...

Он дождался ее, свою Ривку, увидел ее живой. Теперь он знал точно, что ему следует делать.

— Не надо об этом говорить, — попросил он. — Иди к себе, поспи. И, знаешь — плачь!

Доведя дочь до порога ее комнаты, он затворил за ней дверь, удовлетворенно прислушался к двойному стуку сбрасываемых башмачков — и вдруг преобразился: движения его стали крадущимися и стремительными. Скользя к овальному большому зеркалу в золоченой раме, он, пристально глядя, пригладил руками волосы, ощупал набрякшие подглазья и с силой провел ладонями от лба к подбородку, как бы наново формуя отекавшее от бессоницы и слез лицо. Затем, легко откинув горбатую крышку сундука, зажегшимся взглядом прошелся от рукояти до тусклого

острия абордажного палаша — давнишнего подарка Дивьера. Серебристый палаш, как хищная опасная рыба, лежал на волнистом куске сочно-синего утрехтского бархата, и это было красиво; и Лакоста холодно это отметил.

Он закрыл сундук и с улыбкою, бормоча что-то себе под нос, прошелся по комнате. В нем словно бы раскручивалась огромная мощная пружина, и все его движения подчинялись этой неостановимой пружинной силе: от дочкиной двери мимо зеркала, мимо сундука, и вот эта проходка по комнате, и Бог знает, на сколько еще рассчитан завод... С разливом накинув плащ, Лакоста повернулся на каблуках и вышел из дома.

Дивьер, настоящий друг, еще вчера помог ему всем, что было в его силах: назвал имя кавалера Рене Лемора, начертил планчик с указанием дома кавалера, и как к нему пройти. Вкладывая свернутый в аккуратную трубочку планчик в руку Лакосты, Дивьер сказал негромко, но с нажимом:

— Дуэли запрещены государем под страхом смертной казни обеих сторон. Кроме того, кавалер Лемор лучше тебя владеет оружием: он учился, ты — нет... Хороший вариант — утопить его в реке, и концы в воду.

— Я попробую... — хрипло сказал Лакоста. — Но, Антуан, как его выманить из дома к реке?

— Это один из вариантов, — терпеливо наклонил голову Дивьер. — Другой: подстереги его перед хутором Еловый Шалаш, по московской дороге. Действуй дубинкой или палкой с железной шишкой на цепочке, как простой грабитель. Остальное сделают волки.

Просить Дивьера о чем-то большем, чем дружеский

совет, Лакоста не собирался. Придерживая хлопающий на сыром ветру плащ, он отправился к Вытащи.

Вытащи жил на берегу Куликова болота, в просторной чистой избе. В красном углу, под образом, под ровно светящейся лампадкой, покачивался на веревочке пучок душистых засушенных трав. Озадаченно глядя на нежданного гостя, Вытащи пригладил стриженные в скобку волосы, а потом вежливо почесал грудь.

— Заходи, что ль... — сойдя, наконец, с порога, сказал Вытащи. — Садись вот.

— Я по делу, — не садясь, сказал Лакоста. — Ты мне можешь помочь? Помочь — можешь?

— Помочь? — возвышаясь над гостем, переспросил Вытащи. Его никто и никогда не просил о помощи, и он был озадачен и приятно встревожен. — А что ж... Как помочь-то?

— А вот, — коротко объяснил Лакоста. — Мы сейчас пойдем к одному человеку, и ты ему скажешь: "Шут Лакоста вызывает тебя на дуэль". Запомнишь? "На дуэль".

— Драться, что ли, с ним хочешь? — посветлел Вытащи. — Да ты мне только скажи — кто, я ему голову оторву! Я тебе помогу!

— Нет! — отвел Лакоста. — Я сам должен. Спасибо тебе.

— А он — что? — спросил Вытащи. — Обидел тебя, или как? — В этом чистом доме голос его звучал участливо и тревожно.

Лакоста подошел к столу, сел, покусал губы.

— Он дочку мою... испортил... — сказал Лакоста.

— Чего сидишь-то? — надвинулся Вытащи. — Пошли тогда!

Лакоста, горбясь напряженно и поглядывая исподлобья по сторонам и в оконце, за которым чугунными пластами катилась Нева, ждал в сыром углу кабака, в пяти минутах хода от дома, где квартировал кавалер Рене Лемор. Ждать пришлось недолго: швырнув дверь, Вытащи ввалился в помещение.

— Эй, кто там! Казенки штоф! — приказал Вытащи, обнаружив Лакосту в его углу.

Лакоста, сплетя над столешницей ладони, вертя большими пальцами, вопросительно глядел. Вытащи сел, громыхнув лавкой.

— Так что он передал, — строго сказал Вытащи: — Дворянин с шутком драться на дуэли никак не может. Нельзя.

— А еще что? — расплетя руки, Лакоста дотронулся до плеча Вытащи. — Ну, вспомни!

— А я помню, — наклонил голову Вытащи. — Он сказал: "Шута надо учить не шпагой, а палкой".

— Хорошо, — удовлетворенно пожевал губами Лакоста. — Я так и думал...

— Давай выпьем, — сказал Вытащи, наливая. — Это и меня, значит, палкой? Да об меня палка обломится!

— Я так и думал... — улыбаясь, повторил Лакоста. — Шута — палкой, а благородного кавалера можно учить палашом.

— Кнут всех подряд одинаково дерет! — со знанием дела заметил Вытащи. — Главное, чтоб хвост не размок; тогда хорошо.

— Шут — не человек, — продолжал Лакоста. — Шут — жаба, мразь. Шута — палкой! А чадо его — это для лакочки сласть особая, с пряностями... Вот ты — тебя ведь Степаном зовут?

— Степаном звали Медведем, — степенно подтвердил Вытащи.

— У тебя, Степан, семья есть? Дети?

— Не дал Господь, — просто объяснил Вытащи. — Поломойка ходит, чистая женщина.

Они выпили, захрустели крупно нарезанным луком.

— Ты хлеб-то бери! — посоветовал Вытащи. — Солью вот посыпь и ешь.

— Я к тебе пришел, просить тебя, — откусывая от ломтя, сказал Лакоста, — потому что мы, в сущности, одинаково несчастные люди. Ну, я, в придачу, еще и жид. Зато ты — кнутмейстер. Но, прежде всего, мы с тобой — шуты!

— А что, в жидовской земле или в какой другой шуту лучше? — с надеждой спросил Вытащи. — Я так думаю, что везде одинаково; такое дело.

— Что это значит — шут? — не слушая, продолжал свое Лакоста. — На службе ты — шут, а дома? Вон я у тебя дома был, разве ты в своей избе — шут? Или мы с тобой, Степан, только наполовину шуты? А нас все презирают, всякий час, всякую минуту, и смеются не над шутками нашими — над нами самими!

— Смеются, — признал Вытащи. — Плевал я на это... — И, смачно сплюнув на пол, растер плевков огромной ногой.

— Наливай! — сказал Лакоста. — Вот ты скажи мне, скажи мне, Степан, ты чувствовал когда-нибудь, что люди на тебя смотрят, как на зверя какого? Тебе это как: неприятно, тошно?

— Со мной никто не разговаривает, — проглотив водку и глядя на Лакосту доверчиво, сказал Вытащи. — Поломойка одна...

— Весь род наш проклят, — нависнув и покачиваясь над столом, сказал Лакоста. — Проклят! Мы прокаженные, мы и наши дети. Нельзя нам иметь детей! У тебя вот нет, Степан, и тебе лучше, чем мне.



— Поломойка не хочет, — вздохнув, сказал Вытащи. — Я уж ее и Христом-Богом просил, и бил, и повсякому... Детишку-то сладко иметь маленькую, это и волк понимает. А мы хоть и шуты, а все же как бы человеки.

— Вот ты верно сказал — ”как бы человеки”! — горестно вскинулся Лакоста. — ”Как бы” — значит, плюнуть можно, палкой стукнуть...

— Ну, это каждого можно, — перебил Вытащи. — Очень даже просто.

— Значит, нам еще хуже, — сказал Лакоста. — Нам только одно остается: бежать. Вот и Ривка бежать хотела с кем попало, куда глаза глядят... Это ведь так нам понятно, Степан!

— Постой, постой! — насторожился Вытащи. — Куда бежать-то? Я тут родился, тут мое место. Бежать! Чем горе на чужбине мыкать, так лучше дома!

— Свое место... — тихо сказал Лакоста. — А у меня и этого нет. Как я сюда зашел мимоходом, так и уйду дальше.

— Да ты что! — жарко дыхнул Вытащи. — Да ты куда! Да если кто тебя пальцем тронет, я с того всю кожу сдеру — только скажи! Вот как крест свят...

— Спасибо тебе, Степан, — сказал Лакоста и обнял Вытащи за каменные плечи.

Востроглазый Семен был сосредоточен в этот вечер более обычного: шампанея была заказана во множестве, и хозяин Шалашка терпеливо ожидал необыкновенного буйства, вплоть до мордобоя. Туляков вот уже битый час молотил перед собою кулаками и кричал, никому не давая рта раскрыть:

— А я вам говорю, что ничего у него не вышло!

Жидовка закрылась на замок! Шут пожаловался государю!

Никита Кривошеин возражал рассудительно:

— Ну, не получилось — потом, может, получится. Вот и прелестная Марфутка того же мнения.

— А я попрошу не спорить! — как личную обиду принимал возражения Туляков. — А я лучше знаю! Жидовка лучше повесится!

Только Агашка могла бы уговорить расходившегося Тулякова — но она объелась за обедом пельменями, страдала желудочными коликами и отказалась выйти к гостям. Известие об Агашкином раздутии не прибавило радости сосредоточенному Семену. Он, конечно, не виноват, что именно в его Шалашке, а не в другом месте, этот дохлый французишка пообещал клюнуть дочку проклятого шута — но Дивьер, когда Семен явился с доносом, погрозил пальчиком. Пальчиком погрозил! А что это значит, каждая собака знает в Санкт-Петербурге: в другой раз ножкой топнет, и заберут заведение в казну, и пойдет Семен с котомкой по дворам просить Христа ради хлебные огрызки. А то и на Урал погонят с колодкой на шее, на железорудные заводы.

Время шло, гости галдели и пили все подряд, Агашка пукала в сенном сарае, а кавалер Рене Лемор все не появлялся. Туляков устал кричать и хмуро сидел. Девки скучали без дела по углам залы и слушали заумные речи мужчин как далекую чужеземную музыку, китайскую или персидскую.

— Опасное явление это кумирство, — выпив и причмокнув, сказал Растопчин. — Взять хотя бы вот жидовку: стройна, смугла, губки коралловые, все мы о ней говорим в положительном смысле, а Туляков так и головой за нее готов рискнуть... А ведь пройдут годы

и станет она серая и морщинистая, груди у нее усохнут и отвиснут, зубы выпадут, коса вылезет, зато на подбородке вырастет бородавка с пучком волос — и вот уж никому не интересна, никому не нужна, каждый ей вслед норовит плюнуть: "Ступай, бабка, иди своей дорогой!"... И вот, господа, как только я подумую жениться — обзавестись, иными словами, постоянной кумиркой — мне приходит в голову такая противная старуха: "Иди, иди, бабка! Кыш!" И я не женюсь.

— Ну, тут уж ничего не поделаешь! — развел руками Гагарин. — И мы от годов не без урона.

— Новое время пришло, — пересаживая Марфутку с правого колена на левое, сказал Никита Кривошеин. — А которое еще новей — то в дороге. И вот завтра придет какой-нибудь старик с палкой, нищий и жидкий в ногах, зато хитрован и болтун, и скажет: "Я знаю, как каждому голодному дать по куску мяса, а каждому несчастному — по кульку счастья". И все людишки за ним похромают, а кто не пойдет, тех утопят в реке. Вот этот жидкий старик и будет — кумир!

— Ну, подлил ты мраку, Кривошеин! — досадливо поморщился Растопчин и треснул себя ладонями по крепким круглым коленям.

— Рене, Рене пришел! — закричал Гагарин, обращаясь к заскрипевшей двери.

Туляков набычился, пьяно уставился на дверь.

Через порог шагнул чернявый мужик, держа под мышкой свою скрипку.

— Вот, черт! — выругался Гагарин. — Да куда он делся!.. Давайте выпьем, что ли!

— А мне овса, — сказал Туляков. — Овса мне!

Семен, не удивясь ничуть, слетал в амбар и вернулся с оловянной тарелкой с овсом.

Туляков набрал овса в горсти, посыпал им голову и сказал горько:

— Я лошадь!

Лошадь Рене Лемора, чавкая по крутой грязи, шла дорожной обочиной, вдоль черных мокрых елок. Смеркалось, сырой сумрак пополам с тяжелым туманом стлался низко над лесом. Рене сидел в седле, свесившись на левый бок. Еще немного — и за последним поворотом на Шалашок можно будет пустить измотанную гнусной дорогой кобылу рысью.

На самом повороте из леса, как леший, выдвинулся одетый в черную аптекарскую одежду всадник и встал, перегородив дорогу перед самой мордой Леморовской кобылы. Кобыла безразлично остановилась и свесила голову. Черный всадник резко наклонился вперед, ударил Рене Лемора в бок рукояткой абардажного палаша и вышиб его из седла. Вслед затем он и сам живо спрыгнул в дорожную грязь и помог сброшенному подняться на ноги.

— У меня ничего нет! — сказал Лемор, прижимая ладони к ушибленному боку. — Я бедный иностранец!

— У вас есть шпага, молодой господин, — сказал Лакоста. — Или вы предпочитаете учить шута палкой? Тогда возьмите палку!

— Но я же сказал, что не хочу с вами драться, — отступая и держа шпагу эфесом вперед, сказал Рене Лемор. — Я не могу! Это просто глупо! Я дворянин...

— А я — шут, — размахивая палашом, сказал Лакоста. — Защищайтесь, или я зарублю вас, как простого мужика.

— Я женюсь на ней! — вскрикнул Лемор, морщась от свиста клинка над своей головой.

— Ей — рано, — проворчал Лакоста, замахиваясь. — Тебе — поздно.

Тогда Рене сделал выпад, и острое его шпаги оцарапало руку Лакосты пониже плеча. И в тот же миг палаш Лакосты обрушился на его шею.

Петр вытаскивал из слоновьего бивня коробочку для английских облаток, помогающих от почечных колик. Наклонив голову к плечу и прищурившись, он придирчиво вслушивался в ровный ход токарного станка, установленного под большим окном мастерской. Он любил эту комнату под самой крышей дворца, не слишком большую, но и не тесную, светлую и уютную. И сегодня, вернувшись с похорон жены сына — принцессы Софии-Шарлотты, скончавшейся в послеродовой горячке, — он первым делом поднялся сюда, в мастерскую. На похоронах было невыносимо душно и чадно, зыбкая церковная полутьма неприятно укачивала, многолюдная шушукующая толпа раздражала. Обязательные соболезнования звучали неискренне. Пьяный уже третий день, овдовевший царевич Алексей не скрывал над гробом облегчения: брак с принцессой, заключенный четыре года тому назад по велению Петра, оказался неудачен, жена тяготила Алексея. Хорошо еще, что он по пьяному делу не привел в церковь эту свою девку, хундордную Ефросинью: с царевича все могло стать... После отпевания у Петра разболелась голова и привычная, тянущая боль наполнила правый бок, пониже ребер. Рассеянно оглядывая толпу, царь раздраженно думал над тем, что может он возразить сыну, отстаивающему перед ним толстомясую Ефросинью: ведь и мачеха Екатерина не на троне ро-

дилась. Своеволен царевич Алексей и упрям, да умом недалек — в мать вышел характером, в Евдокию Лопухину. Нашел, щенок неразумный, с кем сравнивать свою Фроську!

Потерев крышку коробочки о рукав кафтана, Петр потянулся к приставному столику за новым резцом. Вдоль стен мастерской помещались в резных ларцах и сундуках наборы инструментов плотницких, столярных и токарных, привезенных из Голландии, Германии и с Британских островов, присланных со всех концов света дружественными и злокозненными правителями, знавшими вкусы московского царя. Слева от окна, в углу, стоял застланный персидским ковром диван, к нему примыкала стойка с гнездами для полудюжины разноразмерных и разновесных дубинок. Самая маленькая из них, размещенная в крайнем левом гнездышке, напоминала скорее небольшую изящную трость; самой же большой, грозно болтавшейся в правом гнезде, можно было умеючи уложить корову или лошадь.

У двери, сонно помаргивая, лежала на вытертом шелковом одеяльце любимая царева собачка Лизетка. В головах дивана, сбоку от него, возился в деревянном ящике с высокими бортами Кабысдох, одряхлевший и впавший в детство. Поседевший карла тотянул унылую колыбельную песню про серого волка, то вдруг принимался ругаться и трясти свой ящик.

Немногие из приближенных царя имели доступ в эту комнату. Войти сюда было честью, выйти на своих ногах — удачей.

Пел станок, пел Кабысдох в ящике. Наклонив голову и сверяясь с рисунком придворного гравера Зубова, Петр вырезал на крышке коробочки змею над чашей. На рабочем столике, на мягкой белой тряпоч-

ке, горели зеленым огнем два мадагаскарских изумрудика — змеиные глаза.

Покачиваясь на своих кривых ногах, Лизетка поднялась с подстилки и, рыча, подошла к двери. В дверь постучали.

— Шут Лакоста, Ваше величество! — доложил дежурный офицер.

Петр, продолжая резать, коротко кивнул головой.

Обнюхав башмаки Лакосты, Лизетка поплелась на свое место.

— Позвольте, Ваше величество, — прозвучал тихий голос шута, — принести вам поздравления по случаю рождения внука. И соболезнования по поводу кончины принцессы Софии-Шарлотты Вольфенбюттельской.

— Ты зарубил француза? — все так же не оборачиваясь, спросил Петр.

— Я, Ваше величество, — сказал Лакоста, глядя в затылок царя.

— Ты знаешь, что тебе за это полагается? — Петр отложил, наконец, коробочку, обернулся и кругло, не мигая, уставился на шута. Отвисающие подглазные мешки царя наливались серым.

— Знаю, Ваше величество, — сказал Лакоста и вздохнул. — Но он соблазнил мою дочь.

— Ну и что, дурак! — дергая головой, закричал Петр. — Она лучше других?

— Хуже, Ваше величество, — тихо сказал Лакоста.

Оглядывая щуплого шута с ног до головы, царь боком, прыгающей походкой подошел к стойке с дубинками. Взяв одну, из середины, он прикинул ее вес и вернул обратно в гнездо: тяжела. Вторая слева, с инкрустированной золотой проволокой ручкой и обтянутой черной кожей головкой соответствовала живому весу и комплекции шута.

— Повернись! — приказал царь и, размахнувшись, ударил Лакосту дубинкой по спине. Лакоста присел от удара и закрыл голову руками. Царская дубинка гуляла по плечам, по бокам, по рукам посетителя: Петр бил, не выбирая места.

— Вот ты жид, почти немец, а дичей последнего холопа, — закончив и утирая лоб рукавом, а потом большим полотняным платком, сказал Петр. — Ты человека убил своей волей!.. Сядь вон на диван.

— Каждый день на площадях убивают людей, — с трудом садясь, сказал Лакоста. — Разве это — новое?

— То по м о е й воле, — строго, но без злобы сказал Петр. — Царствовать — значит учить, и я учу моих людей: кого лаской, а кого — казнью. Люди передо мной в ответе, а я перед Богом.

— Но это ведь люди, не звери! — жалобно возразил Лакоста. — Каждый человек по-своему думает...

— Да, это люди, — садясь рядом с Лакостой, сказал Петр. — Но — мои люди, как мои пальцы, ногти, волосы. Это тебе трудно понять, шут. Да и не только тебе.

— Я это хорошо понимаю, Ваше величество... — скороговоркой пробормотал Лакоста.

— Каждый человек внутри себя либо вор, либо бездельник пустой, — продолжал Петр. — И не воруют люди только лишь по лености природы или по злему умыслу. Кто не ворует — того опасаться следует вдвойне!

— Человек — злодей! — убежденно сказал Лакоста, с удивлением сознавая, что не испытывает к царю ни обиды, ни злобы за битье — как к дубинке с кожаным колпачком, которою был бит. — В детстве он бабочкам крылышки отрывает, стрекозам головы открывает, вешает кошек — младенческая жестокость, кровавый интерес. А вырастет — убивает себе подоб-



ных: развитое, совершенное злодейство. И ничто его от этого не может уберечь, кроме власти, кроме царской руки.

— Значит, понимаешь! — кивнул Петр. — А француза зарубил! А сказал бы мне — я б его жениться заставил!

Лакоста упрямо молчал, уставившись на притихшего Кабысдоха.

— Если царская рука послабление себе позволит, — рывком встав с дивана, сказал Петр, — не только людишки — вся эпоха озвереет! Верно ты сказал: начнется с жуков да с кошек, а кончится человекоистреблением ужасным... Это в Голландии — законами, а у нас палкой надобно погонять людей.

— Когда-то и в Голландии палкой погоняли, — не подымая головы, сказал Лакоста.

Петр подошел, за уши отвел назад Лакостову голову, сказал, близко глядя ему в глаза:

— Если б я три жизни прожил — может, научил бы наших русаков жить по разумным законам. А мне отведена — одна, да и та через вас к концу идет!

Отпустив Лакосту, он подошел к станку и тронул приводное колесо.

— Уходи, шут, — сказал он, глядя в окно. — Не хочу с тобой говорить: умен ты, а не свой... Ишь, ты, голландские законы! Кто в них тут поверит, когда и сам я уже не верю.

Услышав мягкий стук затворившейся за Лакостой двери, Петр подошел к ящичку Кабысдоха, опустился на корточки и принялся толкать, ворошить дремлющего карла острой щепкой.



## 10. ЦАРЕВИЧ. 1717—1718

**Н**ад Веной билась, зацепив ее крылом, типичная восточноевропейская непогодь, отвратительная и бесшабашная. Перед лицом дикой степной гостьи австрийская столица выглядела испуганной и отчасти даже жалкой: стремительные порывы ветра несли в себе хриплое дыхание Азии. Казалось, из взвихренной, слоистой тьмы вот-вот высыпятся орды косоглазых всадников, поскачут со всех сторон к императорскому дворцу, к Собору, к Грабенштрассе.

Град сыпал на Грабенштрассе как из ведра, ледяные ядра дерзко стучали в окна особняка российского резидента Авраама Веселовского. Веселовский, только что вернувшийся от вице-канцлера Шенборна, намерзшийся и продрогший, грел зад у камина овальной гостиной, с письмом в руке. Письмо было из Санкт-Петербурга, от двоюродного дяди Петра Павловича Шафирова.

”Милый Абраша, — писал Шафиров, — побег царевича продолжает беспокоить Государя сверх всякой меры. В этом злосчастном происшествии он усматривает связь с замыслами своих еще уцелевших противни-

ков и поэтому придает делу первостепенное значение. Всякий, хоть сколько-нибудь причастный к этому преступлению или сыску, находится под пристальным наблюдением, — и ты, разумеется, из первых. Гвардии-капитан Александр Румянцев, посланный тебе в помощь, доносит о каждом твоём шаге. Если ты сумеешь добиться выдачи царевича, либо похитить его, либо, на самый крайний случай, вообще бесследно от него избавиться — тебя ждёт богатая награда и дальнейшая блестящая карьера. В противном же случае, при неблагоприятном стечении обстоятельств, ты подвергнешь смертельной опасности себя и своих братьев Исаака и Федора; один только Яшка ходит в любимчиках князя Меншикова и ему ничего не грозит. Мое положение, как ты знаешь, достаточно прочно, но и я от твоего падения могу впасть в жестокую опалу”.

Прочитав про грозящую опалу, Веселовский придвинул кресло поближе к огню, сел, закурил трубочку и усмехнулся задумчиво. Не зря беспокоится дядюшка Петр Павлович, не зря! Да и не один он, надо думать, беспокоится в Санкт-Петербурге, и как раз это и доказывает, что есть у царевича Алексея шансы на выигрыш. У него друзья не только в России остались — вот и австрийский двор его укрывает, и шведский Карл его поддержит, и, может, турки. Россия устала от реформ, Россия язык на плечо свесила, задыхается — тут не только царевич Алексей, а и самозванец пришлый, проходимец ветреный, рискнув, дотянется до трона. И кто ему помешает, тот лишится головы. А кто поможет, даже незаметно — тот возвысится. Не надо мешать, и это и будет помощью! И тогда всем будет хорошо: и Исааку, и Федору, и даже Яшке, не говоря уже о таком опытном и всенеобходимом человеке, как дядюшка Петр Павлович. Тут ведь речь идет не о

том, что Алексей разрешит русским людям носить бороды, а на солдат снова натянет стрелецкие кафтаны — речь идет о будущем России, — а, значит, о будущем Швеции, Турции, Польши. Царевич, став царем, отдаст, пожалуй, старым владельцам и Северные, и Южные морские ворота. Впрочем, может, и не отдаст: цари отличаются от царевичей. Но какое, в сущности, дело братьям Веселовским до того, кто будет сидеть на русском троне? Кто к ним, братьям, более благоволен, тот пусть и сидит, с Божьей помощью... А Алексей, в его положении, даст, пожалуй, больше, чем его отец. На обещания он, во всяком случае, не скупится.

”Коллеге моему, — читал далее Веселовский, — вице-канцлеру Шенборну намекни, что дальнейшее тайное укрывательство царевича Алексея в австрийских пределах может привести к весьма нежелательной для целой Европы русско-австрийской войне. Государь посылает к вам в Вену для тайных переговоров Петра Толстого, и если его миссия закончится неудачей, война станет неизбежной... Письмо это по прочтении уничтожь не мешкая”.

Прочитав еще раз на выборку несколько фраз, Веселовский аккуратно разорвал листок на четыре части, бросил в камин и, поворошив прах кочергой, потянулся к шнуру звонка. В ответ на звяк колокольчика дверь овальной гостиной отворилась и вошел лакей.

— Кто принес письмо? — спросил Веселовский.

— По виду иностранец, — стоя навытяжку, доложил лакей. — Он отогревается в кухне.

— Позови его! — сказал Веселовский.

Посланцем Шафирова оказался старый еврей в капоте, в островерхой черной шляпе, из-под которой ниже ушей свешивались седые косицы пейсов.

— Ты из Санкт-Петербурга? — с сомнением в голосе спросил Веселовский. — Ты там получил письмо?

— Нет, с вашего позволения, — часто мигая красными старческими глазами, ответил еврей. — Я торгую клеем в Варшаве. Письмо мне передал один еврей из Смоленска... Вы можете не беспокоиться: наша еврейская почта работает даже лучше английской королевской!

— Ты знаешь, от кого это письмо? — немного помешкав, спросил Веселовский.

— Я же говорю, — наклонив голову и пожимая плечами, сказал старик, — от одного еврея из Смоленска. Он торгует кошерным мясом.

— Значит, это кошерный торговец послал мне письмо? — втягиваясь в игру, переспросил Веселовский.

— Совершенно верно, рэб Абрам, — помигал старик. — Вы же знаете, его зовут Рувим. Он торгует кошерным мясом и птицей.

— Ах, да, — сказал Веселовский. — Ну, конечно... — Он вдруг вспомнил семейную легенду о том, как Петр Павлович Шафиров торговал когда-то одежкой в Панских рядах и подрался там из-за краденной шапки с будущим князем Меншиковым. — Значит, Рувим?

Старик развел руками и улыбнулся.

— Ну, пусть будет Рувим! — сказал старик.

— Ты можешь здесь переночевать, — предложил Веселовский.

— Нет, с вашего позволения, — отклонил старик. — У меня есть еще поручение-другое от Рувима.

Проводив старика глазами, Веселовский позвонил лакею.

— Скажи там, чтоб заложили коляску, — сказал Веселовский. — Я еду во дворец.

Но поехал он не во дворец, а к вице-канцлеру Шенборну, на дом. А гвардии-капитан Александр Румянцев, уведомленный лакеем, отправился во дворец, искал близ него коляску резидента Веселовского и не нашел.

Шенборн — рослый розовый старик с длинными руками и большими ногами — отличался завидным здоровьем и образцовой невозмутимостью, вошедшей в пословицу. Он был, действительно, доволен совершенно всем: пищеварением, женой и любовницей, службой и международным положением Австрийской империи. Выражался он, как на службе, так и в семейном кругу, слогом красивым и звучным, но отнюдь не тяжелым; его умение говорить ставили в пример, и это было ему приятно. Слово "справедливость" он употреблял столь же часто, как "воздух" или "хлеб". Между тем, именно "справедливость" было понятием, категорически и совершенно не принимаемым вице-канцлером Шенборном всерьез.

Поздний визит Веселовского вначале несколько раздосадовал вице-канцлера. Этот русский резидент прибыл явно не вовремя: Шенборн был занят делом ответственным и кропотливым. В теплом колпаке, в потрепанном домашнем халате, никак не соответствовавшем служебному положению хозяина, вице-канцлер принимал роды у роскошной персидской кошки Фатьмы. Виновником создавшегося положения был голубоглазый красавец Султан — подарок персидского шаха австрийскому императору Карлу VI. Немалых трудов и дипломатических уверток стоило Шенборну уговорить императора согласиться на кратковременный союз Султана с Фатьмой. Карл, тайно интриговавший на Востоке, дорожил шахским подарком, а среди претендентов, помимо вице-канцле-

ра, значились три министра, включая военного, и один князь. Каждому лестно было хотя бы и таким косвенным путем породниться с императором, достойно обронить в кругу гостей: "Исключительной красоты котятка, не правда ли? Это детки Султана, да-да, того, разумеется, императорского..." Но Карл весьма дорожил родственными связями, выбирал вдумчиво и котом своим не разбрасывался. Шенборн упрашивал и уговаривал императора полтора месяца. Последний аргумент был такой: "Я стар, Ваше величество, не за горами тот печальный день, когда я вынужден буду просить Ваше величество разрешить мне выйти в отставку... Удовлетворение моей нижайшей просьбы я сочту знаком высочайшего расположения, наградой, которая значительно укрепит мои силы на службе Вашему величеству".

Когда, наконец, сопротивление было сломлено, Султана доставили к Шенборну в дворцовой карете, в сопровождении офицера дворцовой охраны и двух лакеев. В результате этого визита Фатьма затяжелела, и вот наступил день ее разрешения от бремени. Происшествие это, разумеется, перерастало в разряд событий ответственных и в своем роде исключительных. И именно в этот день и час пожаловал, не спросясь, русский резидент Веселовский. Неудивительно, что вице-канцлер Шенборн досадовал.

Любопытство, однако же, очень скоро взяло верх над досадою, тем более, что Фатьма, пока Веселовский маялся в прихожей, успела благополучно окотиться. Что, какие неожиданные новости привели царского резидента в неурочный, столь поздний час? Шенборн не сомневался ни минуты, что причиной тому — царевич, но ведь не далее, как сегодня, он, Шен-

борн, битый час толковал с Веселовским на эту тему и ничего нового к недосказанному прибавить не мог.

— Входите, мой друг, входите! — разогнувшись над голубым бархатным, замаранным мерзкой слизью пуховичком, сказал Шенборн. — Не правда ли, исключительной красоты котятки? Это детки Султана, да-да, того самого, разумеется, императорского...

— Действительно, само очарование, — брезгливо косясь на голые слепые комочки, охотно согласился Веселовский.

— Вы уж меня извините, я по-домашнему, — запахивая халат, сказал Шенборн. — Не сочтите за неуважение, упаси Бог!

— Ну, что вы! — с широчайшей улыбкой на костлявом энергичном лице возразил Веселовский. — Это я врываюсь к вам, как тать ночной... Поверьте, исключительные обстоятельства привели меня к вам в такой час, в такую непогоду.

— Верю, верю! — добродушно отмахнулся большой рукой хозяин, показывая тем, что ночной наскок несколько его не потревожил.

— Я только что, уже после нашей сегодняшней встречи, получил чрезвычайное послание из Санкт-Петербурга, — сказал Веселовский и, словно бы ища письмо, суетливо похлопал себя по карманам. Шенборн, поджав губы и задумчиво хмурясь, следил за его действиями: последний фельдъегерь прибыл из России третьего дня, содержимое его сумки было известно вице-канцлеру. Кто ж привез послание, да и было ли оно вообще?

— Забыл! — воскликнул гость, и хозяин понимающе покачал головой. — Запер в стол и в последнюю минуту забыл... Но я помню его наизусть — те части, во всяком случае, которые я считаю необходимым по-дружески вам передать.



Хозяин готовно придвинулся к гостю вместе с тяжелым кожаным креслом и, облапив подлокотники, подался вперед. Глаза его под крутыми надбровными дугами, вольно заросшими рыжими бровями, сделались внимательны.

— Речь идет об известной вам персоне, — почти шепотом, но твердо и отчетливо выговаривая слова, сказал Веселовский. — Дальнейшее тайное пребывание названной персоны в крепости Эренберг, в Тироле, приведет к скорой и неизбежной войне между нашими странами... Поверьте мне, я говорю вам это с болью, говорю, как друг.

— Но, мой дорогой, — живо откликнулся Шенборн, — я рассматриваю визит этого милого молодого человека в Тироль как сугубо частное предприятие! Вы меня просто поразили, потрясли вашим сообщением. Война! Сейчас! Чего ради?

— Вот именно, — терпеливо кивнул Веселовский. — Ради чего?

— Но любое решение, разумеется, должно исходить от самого молодого путешественника, — продолжал Шенборн. — Мы не вправе его удерживать, равно как и навязывать ему маршрут. Но если, скажем, после тирольских песен он соблаговолит послушать неаполитанские романсы...

— Ну, конечно, — снова кивнул Веселовский. — В конце концов, как бы в дальнейшем ни сложились обстоятельства, куда приятней в такую погоду сидеть в Италии, чем в Тироле. Поверьте, я желаю вашему гостю всяческих благ...

— А я это знаю, — беззастенчиво глядя на русского резидента большими голубыми глазами, перебил Шенборн.

— Да, да... — смутился, смешался на миг Веселов-

ский. — И я прошу вас, Ваше высокопревосходительство, ради общего блага разрешить мне встречу с нашим путешественником. Я готов хоть сейчас скакать в Эренберг.

Опершись о подлокотники, Шенборн легко поднялся из кресла и, посмеиваясь, прошелся по комнате.

— Чудесные, действительно, котятки, — склонившись над измаранным пуховичком, сказал он. — Но ваш господин Румянцев не прыток, нет, не прыток! — Подойдя к гостю, Шенборн близко заглянул ему в лицо и довольно улыбнулся, показывая крупные желтые зубы. — Как же это он вам не донес, что путешествующая персона, пресытившись горным покоем, вот уже второй день как в Вене! Отчитайте, отчитайте гвардии капитана Румянцева: зря ему жалованье платят.

— Значит, и нужды нет ехать в Тироль, — не отводя глаз, сказал Веселовский. — А что до Румянцева, то я с вами совершенно согласен.

— Война! — вновь принявшись ходить по комнате, словно бы сам с собою говорил Шенборн. — Такая война не принесет никому из нас ничего, кроме орденов. А справедливость! Не вовремя начатая война не может считаться справедливой, в то время как ни у кого не вызывает сомнения справедливость войны, начатой в подходящее время. И разве можно забыть о справедливейших интересах этого несчастного скитальца, этого милейшего молодого человека, столь ужасно поправленных! И кем, кем поправленных? Родным отцом!.. Такой пример может поколебать монархическую гармонию во всей Европе... Что вы скажали?

— Война поколеблет европейскую гармонию в еще большей степени, — сказал Веселовский, и не думав-

ший прерывать вице-канцлера, а, напротив, слушавший его, боясь пропустить хоть слово.

— Ах, война! — беспечным тоном откликнулся Шенборн. — Ну, ее нетрудно избежать.

— Итак, — провояжая взглядом вышагивающего хозяина, сказал Веселовский, — где и когда я могу встретиться с царевичем?

— Здесь, — резко остановившись, сказал Шенборн. — Сейчас... Если, разумеется, мой гость еще не спит. И я прошу вас, мой дорогой, не утомлять его политическими разговорами: в этой области наш юный друг, к сожалению, еще не силен.

— Мудрые советы Вашего превосходительства обогатят и нищего, — внятно пробормотал Веселовский, выходя из гостиной вслед за хозяином.

Царевич Алексей стоял у высокого сводчатого окна своей комнаты во втором этаже шенборновского особняка и, отведя гардину тонкого белого шелка, глядел на улицу. Темень перед домом была пронцаема: усовершенствованные масляные фонари горели ровным желто-золотистым светом... Вспомнив буйную тьму кривых московских улиц, царевич вздохнул, отпустил гардину и вернулся к низкому резному столику, на котором стояла пузатая бутылка порто, бокал тонкого стекла и серебряная ваза с сахарным печеньем.

В сущности, было бы замечательно завести в Москве такие вот фонари, такие гардины и бокалы. Но Москва шиш получит, отец все хорошее, все лучшее забирает к себе в Санкт-Петербург — а Москва пусть в грязи сидит, грязью умывается. Отец Москву ненавидит, ненавидит! И его, Алешу, ненавидит, и его мать Евдокию Лопухину, и вообще всех Лопухиных. А кого

он не ненавидит, кого любит? За что мать в монастырь сослал, в Суздаль? Променял ее на немку свою, на Катьку-портомою. Он одних немцев и любит, подголосков своих, а чуть кто за русское, за благостное вступится — тому голову с плеч... Ну, и его русские люди ненавидят: сидит, как пугало, в своем Парадизе. Родного сына решил власти лишить, Божьего наследства — ан-нет, не получится, не выйдет! И из Руси Немецкую слободу устроить не выйдет! Вон дедушка Алексей Тишайший по морям, как рыба-кит, не плавал, в Царьград да к шведам на рога не лез — а на Руси тишь была да благодать, дай Бог нынче... Фонари! Да хоть бы и во мраке кромешном — а в Москве, в Кремле, на золотом троне, и чтоб рядом — мать, страдальица несчастная, суздальская черничка. Сначала жену в монастырь заточил, а теперь настроился и сына головой в клобук сунуть! Ну, да ничего, Господь поможет праведным — вытащим мать из медвежьей глухомани, спасем, а народ нам за это ноги целовать станет: народ любит униженных, покаранных безвинно. И Апраксин, и Стрешнев, и Шафиров-жид с нами пойдут: у них у всех от Меншиковых пирогов животы пучит. А Санкт-Петербург закроем, сроем: там не столица, там отец Петр Алексеич не на святом троне сидит, а на складной голландской табуретке.

Это ведь только подумать: сына родного, законного наследника — в монастырь! Правильно, вот правильно Кикин сказал, верный друг: "А хоть бы и в монастырь — клобук-то не гвоздем к голове прибит". Правда и из монастыря выйдет на свет Божий, и из тюрьмы, — только надо ей помочь. А помощники у нас есть, помощники и за правое дело готовы потрудиться, и за богатую награду. Правда да награда — они вместе должны идти.

Маслянистое, терпкое вино заметно убывало в бутылке. Царевич пил с охотой, с удовольствием. После третьего бокала отошли, рассеялись сомнения, тревожившие душу: поддержит ли Шереметев со своею воинской силой, с кем пойдет канцлер Головкин? Осталось только одно, незыблемое: животный страх перед отцом, перед его бешеным взглядом.

В дверь постучали тихонько, любовно.

— К вам гость, Ваше высочество! — послышался приподнято-веселый, как всегда в разговорах с царевичем, голос Шенборна. — Не спите еще?

— Пожалуйста! — откликнулся Алексей ("Вот гнусный Шенборнишка! Что он мне вечно как дураку ненормальному поет!"). — Прикажите еще вина, такого же, бутылку.

Пропуская Веселовского, Шенборн выразительно шевельнул толстыми рыжими бровями: пьет молодой путешественник, закладывает за воротник.

— Я вас, с вашего позволения, оставлю одних, — не отпуская дверной ручки, сказал Шенборн. — Вот русский язык одолею, тогда уж вместе вволю наговоримся... А вино сейчас подадут.

Ступая неслышно, он бегом спустился с лестницы и растолкал спавшего уже мирным сном своего специального секретаря по русским делам Вильгельма Крузе. Этот молодой человек был поселен в доме вице-канцлера под видом приезжего племянника позавчера — как только стало известно о приезде царевича из Эренберга.

— Беги наверх, — шепотом приказал Шенборн, — в соседнюю с Алексисом комнату. Слушай и записывай. Запись разговора принеси мне сразу, как уйдет гость... Ну, живо!

Царевичеву комнату соединяла с соседней тайная

дырка, скрытая картиной, на которой изображена была Диана в окружении диких зверей. По другую сторону дырки стоял вплотную к стене стол с письменными принадлежностями. За этот стол, пробежав по скрадывающему шум шагов ковру, и сел молодой человек Вильгельм Крузе, фигурировавший в выплатных ведомостях Антуана Дивьера под кличкой "Водонос".

— Садись, Авраам, в ногах правды нет, — сказал Алексей, указывая на кресло против себя. — Ты дядьку моего знаешь, Лопухина? Его тоже Авраамом звать, как тебя.

— Встречать не встречал, Ваше высочество, только слышал, — рассчитанно опускаясь на краешек кресла, сказал Веселовский.

— Сиди, сиди свободно! — заметил Алексей. — Придет время, я тебя, может, по правую руку посажу, — он, на миг опустив глаза, улыбнулся. — Как Шафировва!.. А ты, я слышал, тоже из жидов?

— Крещен, Ваше высочество, — чуть поджал губы Веселовский. — Дед мой еще крестился в православную веру, Царствие ему Небесное...

— Ну, что ж, — глядя безразлично, сказал Алексей. — А хоть бы и жид — что ж поделать: ты ведь в этом не виноват. Да и среди вас людей хороших много: купцы, врачи, или вот хоть тебя взять.

— Врачи замечательные! — оживился Веселовский. — Если бы в Россию пригласить человек пятьдесят-шестьдесят еврейских врачей, и чтоб они там школу врачебную открыли...

— Они и зубы лечат? — перебил Алексей, страдавший зубами.

— И зубы, Ваше высочество, — подтвердил Веселовский. — Ведь если человек здоров, он и служит лучше,

и спрос с него большой, а государю от этого польза. — Он искоса взглянул на царевича, недоверчиво ища в его лице понимание и интерес.

— А что ж, — одобрил Алексей, — и пригласим. И особый врачебный приказ можно учредить, для надзора над болезнями... Вот тебе я бы такой приказ и отдал.

— Благодарствую, Ваше высочество!.. — смешался Веселовский.

— А что ж! — продолжал Алексей. — Ты вот говоришь: врачи. Мать моя, царица Евдокия, кишечной болью которой год уже мается. Смогут твои врачи ее вылечить?

— Опытнейших найду, — зачастил Веселовский, — знаменитейших! А покамест, Ваше высочество, если поподробней узнать о состоянии здоровья Ее величества, можно и на расстоянии совет дать и лекарством помочь.

— Как лекарство-то пошлешь? — вздохнул Алексей. — В Суздаль?

Я найду, как! — воскликнул Веселовский. — У меня есть торговые люди, они хоть куда доберутся!

— Я маму мою люблю, — выставив костлявые кулаки на стол, раздельно произнес Алексей. — Ей, несчастной, кроме меня, во всем мире никто не поможет. Если ты, Авраам, доброе дело для нее сделаешь — я тебе этого не забуду, вот как Бог свят! — он привычно взглянул в угол и, не найдя там иконы, снова повернулся к Веселовскому. Лицо его было взволнованно и мрачно.

— Сделаю, Ваше высочество, все сделаю! — пробормотал Веселовский, с внезапным страхом глядя в гневные, налитые упрямой ненавистью, Петровские круглые глаза.

Вошел лакей в аккуратном паричке, с подносом. Приседая на сильных, обтянутых свежими белыми чулками ногах, он поставил на столик, между собеседниками, бутылку вина и бокал.

— Я бы сейчас водки с тобой выпил по-нашему, по-русски, — сказал Алексей, наклоня бутылку над бокалами, — да хозяина не хочу просить: скажет — пьяница... А ты чего пришел?

— Поберегите себя, Ваше высочество! — привстав с кресла, понизил голос Веселовский. Привстал по ту сторону стены и молодой человек Вильгельм Крузе и приблизил ухо к дыре. — Не выезжайте без охраны из Эренберга, чужих к себе не допускайте! И не возвращайтесь в Россию до срока...

— Я знаю, отец меня уничтожить хочет, — тускло, без страха и без злобы сказал Алексей. — Но не только у него сила... А тебе спасибо, Веселовский: ведь ты мне, пожалуй, государственную тайну открыл, а?

— Я эти сведения получил по своим каналам, не государственным, — ударяя на "своим", сказал Веселовский. — По этим каналам и лекарство пойдет в Суздаль.

— Кто предупредил тебя? — продолжал спрашивать Алексей. — Врагов своих я знаю, хочу знать и друзей.

Дипломат Веселовский не задержался с ответом ни на миг:

— Это маленький человек, Ваше высочество — дворцовый лакей. Лакеи часто знают не меньше своих хозяев... Из Санкт-Петербурга едет сюда Петр Толстой — опасайтесь его: у него есть приказ доставить вас к отцу.

— Не поеду! — откинувшись в кресле, крикнул



царевич, как будто Петр Толстой уже стоял перед ним и требовал его возвращения.

— Позвольте дать вам совет, Ваше высочество, — немного подождав, сказал Веселовский. — В Эренберге вам оставаться опасно. Если Шенборн предложит вам переехать в другое место, подальше отсюда — соглашайтесь.

— Предложит! — обиженно, как-то по-детски фыркнул царевич. — Разве же он предлагает! Он диктует!.. Когда ты пошлешь своего человека в Суздаль?

— Завтра же утром, Ваше высочество, я займусь этим делом, — сказал Веселовский и поднялся из-за стола.

По дороге домой, на Грабенштрассе, он размышлял над тем, за что царь Петр отрубил бы ему голову, если б узнал о содержании его разговора с сыном: тайно вступил в сговор с бунтовщиком, открыл приезд Петра Толстого, назвал царицей ссыльную Евдокию Лопухину.

Вопрос "За что?" давно уже перестал жечь инокиню Елену — бывшую царицу Евдокию Лопухину, мать наследника Алексея. Разве что в первый из девятнадцати ссыльных суздальских лет молодая женщина искала ответ на этот наивный, вечный вопрос брошенных — а потом стойкая ненависть к мужу-мучителю вытеснила из ее души и робкие предположения, и позорные догадки. Сладкие воспоминания более не тревожили ее. Не найдя своей вины в происшедшем — а искала придирчиво, перебирала день за днем, ночь за ночью все девять лет брака! — она всю вину возложила на Петра. И теперь она желала и ждала одного: смерти мужа, воцарения сына.

Сын, вопреки запрету отца, посылал иногда мате-

ри нежные письма, подарки. Сын, сев на трон, по справедливости отомстит многим, а прежде всего кровавому монстру Ромодановскому, оскорбителю. Как он, монстр, мучил тогда, истязал: "Царь тебя больше не хочет. Уходи сама в монастырь, состриги волосы с головы — не то и голову с волосами потеряешь!" Не согласилась царица Евдокия, не поддалась ни уговорам, ни угрозам. И увезли ее в Суздаль силком, как арестантку.

Меж тем Петр, избавившись от жены, вовсе о ней позабыл — как будто никогда ее и не было, как будто царевича Алексея, наследника, под капустой в огороде наши или аист его принес в клюве. Доставивший опальную царицу в Суздальский монастырь Семен Языков, осмотрев отведенную ей келью, остался, кажется, доволен и ускакал обратно в Москву. Никаких новых распоряжений относительно узницы из столицы не поступало, и начальство заштатного монастыря вскоре оставило ее в совершенном покое: она поменяла убогую монашескую одежду на мирскую и, сидя в своей келье, кормилась пищею, присылаемой родней и друзьями. Коротко говоря, Евдокия, отказавшись от пожизненной службы Богу, сделалась пожизненной привилегированной арестанткой. Из всех строгих указаний, привезенных Семеном Языковым, оставалось в силе лишь одно: запрещение матери вступать в общение с сыном, сыну — с матерью. И за соблюдением этого запрета внимательно следили из Москвы, а затем из Санкт-Петербурга.

Появление в Суздале бродячего рыжего коробейника Янкеля вызвало настоящую сенсацию — как если бы въехал в город индийский царь на слоне и в алмазной шапке. Дело было в том, что город Суздаль никогда еще, со дня своего основания, не видел ни ин-

дийского царя, ни еврейского мелочного торговца — Янкель забрел сюда первым. И если об алмазном индийце суздальские лапотники имели все же отдаленное представление, то явление пейсатого рыжего коробейника в черной капоте поразило их, как гром с ясного неба. Ликующие дети бежали за Янкелем, осыпая его градом шишек и небольших камней, а взрослые осеняли себя крестным знамением и незаметно сплевывали через левое плечо: черный гость смахивал почему-то на беса. Жидовина в торговце признали не вдруг, поначалу никто не знал, кто таков Янкель и из каких отдаленных пределов пожаловал в Суздаль — и эта неопределенность и таинственность тоже подсыпали перца в кашу. К моменту водворения рыжего Янкеля в торговых рядах весь город уже о нем судачил. И товар его — щепотки пряностей, крестики из святоземельского масличного дерева, бирюзовые сережки и перстеньки, зеркала в рамках — пользовался повышенным спросом. Подходя к торговцу, капитан Степан Глебов — человек бывалый, бывавший не раз в Москве и Санкт-Петербурге и вхожий к тому ж вот уже десятый год в келью инокини Елены — вдруг приостановился, тихонько хлопнул себя ладонью по лбу и произнес:

— Да-к ведь это жид!

Открытие никого особенно не покорило: жид так жид! Толпясь вокруг коробейника, горожане посмеивались: приняли ведь обыкновенного жида за важнецкую заморскую птицу... Впрочем, было интересно поглазеть и на жида.

Поторговав в рядах, Янкель отправился после обеда по богатым дворам. Там он показывал и другой товар: крестики серебряные, колечки золотые. Перед

вечером, по-прежнему сопровождаемый толпой ребятишек, он постучал в монастырские ворота.

Его, с некоторой опаской, но и с любопытством, ждали и здесь. Настоятельнице матери Пелагее предложены были крестики простые и с распятиями косяными и серебряными, а также цепочки к ним различной длины и цены. Самую длинную цепочку с самым красивым крестиком Янкель преподнес недоверчиво косившейся Пелагее со словами:

— Святой товар и жидовские руки не испортят!

Подумав, Пелагея согласилась с Янкелем, подарок приняла, но все же просила его снять ненадолго широкополую черную шляпу. Не обнаружив под ней рогов, настоятельница окончательно успокоилась и разрешила еврею разложить товар для всеобщего обозрения в малой галерее, перед трапезной. Там и застал Янкеля капитан Глебов и, поманив его рукою, повел за собой.

Келья инокини Елены помещалась во втором этаже, в конце коридора. Переступив порог, Янкель остановился и молча поклонился нестарой еще, статной и красивой женщине, читавшей книгу за простым столом, покрытым богатой парчовой скатертью.

— Это тот коробейник, я тебе говорил! — сказал Глебов в ответ на удивленный взгляд хозяйки и, отдуваясь, опустился в кресло у самого входа: подъем на второй этаж был крут, а капитан — тучен.

Комната эта с высоким и мелким сводчатым окном мало чем напоминала келью. Широкая кровать застлана была лисьим одеялом, пол — персидским ковром. Под окном стоял большой платяной сундук вологодской работы. В изразцовой печи в гудящем пламени лениво постреливали дрова. Справа от окна,

в углу, в зыбком свете лампадки темнела икона, сверкал золотом и камнями драгоценный оклад.

Стоя перед хозяйкой, рыжий Янкель извлек из своего мешка и опустил на стол потертую кожаную коробку с медными уголками, с висячим кованым замочком. Ключик от замочка он долго ловил за пазухой, наклонялся, шаря рукою под рубахой, и, наконец, поймал с довольной и лукавой улыбкой. Эти его действия позабавили, но слегка и озадачили Евдокию; она приняла маленький узорный ключик со смешанным чувством любопытства и тревоги. Под направляющим взглядом Янкеля она отперла замочек, откинула крышку. В коробке, на куске красного китайского шелка, лежали зеркальца, низки серого речного жемчуга, круглые серебряные баночки с белилами и румянами. Не спеша покопавшись в этом добре короткими и острыми, холеными пальцами, Евдокия вопросительно взглянула на коробейника. Неприметно поведя жидкой бородашкой в сторону сопящего у двери Глебова, Янкель запустил красные, с вьезшейся то ли копотью, то ли грязью руки в коробку и щипком, быстрыми костлявыми пальцами ухватил китайскую тряпку за край и приподнял ее. Под тряпкой, на дне коробки, Евдокия увидела пакет и узнала на нем печать царевича Алексея. Рывком, как от слепящей вспышки света, она опустила крышку — Янкель едва успел отдернуть руки.

— Вещи чудесные, — скороговоркой сказала Евдокия, не выпуская коробки. — Ты мне оставь ее пока, я выберу побольше... Степан! — Глебов повернулся, кресло под ним закрипело. — Проводи его вниз, у него вон еще товару сколько. И постой там с ним, постой!

Глебов, вздохнув, тяжело поднялся на ноги. Не легко быть сердечным другом царицы, хотя бы и бывшей.

Воскликнув с легкостью "Войны нетрудно избежать!", вице-канцлер Шенборн шутил. Присылка Петра Толстого — дипломата и шпиона, человека страшного — была последней каплей стремительно наполнявшейся чаши: не получится у Толстого — получится, весьма вероятно, у фельдмаршала Шереметева с его полками. Жаль, очень жаль, что ничего не выходит с этим милым несчастным царевичем, со всей этой очаровательной авантюрой. Но подставлять австрийские бока под российские кулаки еще жальче. Петр, как видно, весьма строгий отец, да он, в сущности, и прав: путешествие сына могло бы дорого ему обойтись. А теперь по счету придется платить самому Алексису.

Разложив все эти соображения по полочкам, Шенборн оставил место и резиденту Веселовскому: резидента ждут крупные неприятности, он будет отозван, его заменят другим. Кем? Как эта замена, да и вся эта история в целом, скажется на отношениях Петра с венским двором в будущем? Будущее же Веселовского ничуть не занимало Шенборна: существование неглупого еврея заканчивалось для вице-канцлера вместе с концом его венской службы.

Уже после крайне неприятных разговоров с Петром Толстым, после тайного отъезда царевича на Неаполитанский берег (Шенборн побеспокоился при этом, чтобы маршрут вовремя стал известен Толстому и чтоб Алексей никуда не свернул по дороге) к Веселовскому на Грабенштрассе снова явился старый еврей, назвавшийся на этот раз торговцем битой пти-

цей. Из письма дяди Петра Павловича, выдержанного в тревожных тонах, следовало, что в Санкт-Петербурге стало известно о содержании разговора Веселовского с царевичем Алексеем в доме вице-канцлера Шенборна, чтобы он, Авраам, ни под каким видом не возвращался в Россию и чтоб более всего на свете избегал встречи с капитаном Ягужинским, которого уже решено, в случае бегства Веселовского, отправить в Европу для поимки и доставки невозвращенца к Петру, на суд и расправу... Дав старому еврею золотой, Веселовский вздохнул и велел подать в кабинет кофе с ромом.

Рассматривая с любовью книги, картины и дорогие безделушки, которые следовало теперь срочно паковать и куда-то везти, Веселовский машинально повторял фразы шафировского письма, угадывал оставшееся между строк. Известие о разговоре с царевичем неизбежно приведет к Суздальскому розыску, и это поставит под угрозу всю "еврейскую почту". В случае его, Авраама, добровольного возвращения в Россию или успеха разбойного предприятия Ягужинского роль дяди Петра Павловича — в частности, сообщение о приезде Толстого или того же Ягужинского, не говоря уже о намечаемой между Петром и Австрией войне — может всплыть на поверхность. Куда, наконец, отсюда бежать и где прятаться? Разумно, пожалуй, скрыться на первое время в Лондоне, у брата Федора; но и Федора за укрывательство невозвращенца по головке не погладят. Да и Федору лучше не возвращаться: за то, что он знал о планах брата и не донес, и ему не сносить головы. Ай-яй-яй, как вдруг все пошло под гору, покатилося к чертовой матери! И сколько человек потащит за собой царевич Алексей, если не удастся ему вырваться из волосатых лап Петра Толстого! Счастье еще, что они,

Веселовские, не цепями прикованы к матушке России, что еврейский корень всюду одинаково хорошо угнездится — в Лондоне или в Берлине, а того лучше в тихой протестантской Женеве: построить там дом на озерном берегу, принять протестантство, успешно торговать... Еще раз, уже по-деловому обводя взглядом комнату и отмечая вещи, которые надлежало укладывать в первую очередь, он остановился на поясном портрете Петра на фоне кипящего боя — и с улыбкой, как о чем-то уже бесконечно далеко, вспомнил Полтавскую битву, и себя — приближенного царского адъютанта, и как скакал потом в Копенгаген с вестью о победе над шведами... Неисповедимы, все же, пути твои, Господи! И счастье, счастье, что не прикованы мы цепями, не приколоты гвоздями к России.

Все у царевича Алексея получалось не слава Богу: и по дороге домой, в Россию, разлучился он с беременной, на восьмом месяце, Ефросиньей, и осталась Ефросинья в Берлине — рожать. По мере приближения к российским границам Алексей становился все более грустен и замкнут, своими планами о тихой жизни в деревне больше с Толстым не делился и сладко-горькие его речи слушал с отсутствующим видом. Лишь садясь писать письма к Ефросинье, он успокаивался, тихонько что-то напевал над бумагой и глаза его теплели; он нежно упрасивал будущую мать своего ребенка беречь себя и перед денежными тратами не стоять: лекарства заказывать в Венеции или Болонье, а того лучше в Германии, где аптекари искусней, и рецепт не терять. Засиживаясь допоздна над письмами, слушая сонное посапывание Петра Толстого за спиной, Алексей машинально чертил на черновиках прочные деревенские дома вперемешку с виселицами, плахами и топорами. Он не очень-то верил обе-



шанию отца, переданному через Толстого: в случае добровольного возвращения разрешить ему, сыну, жить с Ефросиньей, в тишине и покое, в каком-нибудь далеком углу. Отчаявшись в вежливых и пустых намеках Шенборна, не получая ответов на свои обращения к русским сенаторам, шведскому королю и турецкому султану, царевиц почти чистосердечно готов был отказаться от короны и поселиться в деревеньке, в лесу, под Суздалию.

А в Суздали тем временем уже появились, как первые ласточки, первые същики Тайной канцелярии. Расхаживая по базару, посиживая в кабаках, они выспрашивали у простодырых баб и мужиков, кто из чужаков появлялся в городе в последнее время. Рыжий Янкель был назван первым, и именно поэтому не привлек внимания столичных специалистов: чтоб жида, да в такое дело... Вслед за ласточками последовал ястреб капитан-поручик Скорняков-Писарев с собственноручным царским распоряжением: "Ехать тебе в Суздаль и там в кельях жены моей и ее фаворитов осмотреть письма, и ежели найдутся подозрительные, по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привести с собою, купно с письмами, оставя караул у ворот".

Розыск набирал силу и ширился, первая партия арестованных была отправлена в Москву. Петр из Преображенского — оттуда, где двадцать лет назад плавали в крови стрелецких бунтовщиков кости Ивашки Милославского — наставлял: "Бывшую жену и кто при ней, также и кто ее фавориты, и мать ее, привезти сюда..." Скорняков-Писарев старался, действовал живо; в соответствии с емкой государевой фразой "кто в то время был, и кто о сем ведает, всех заberi" новые группы арестантов потащились из Суздали по

московской дороге. Степан Глебов был доставлен в крытом пароконном возке, трижды пытан в застенке Тайной канцелярии, но участия своего и сожительницы своей Евдокии Лопухиной в заговоре против режима не признал.

В то время — в феврале 1718 — царевич Алексей был уже привезен в Москву, к отцу. Встреча была обставлена, по желанию царя, церемонно и торжественно: дело далеко выходило за рамки семейной распри, и это следовало принять к сведению не только в России, но и в Вене, и в Турции.

Петр встретился с сыном, три дня дожидавшимся в московском пригороде аудиенции, в большом тронном зале Кремля, в окружении сенаторов, генералов и высшего духовенства. На этом раззолоченном фоне серая, будничная одежда Петра придавала его фигуре казенную ледяную мрачность. Так же скромно одетый Алексей, бледный, с отечным лицом, был удивительно похож на своего отца.

Царевич вошел в зал ровным медленным шагом. Не глядя по сторонам, он подошел к застывшему на троне царю и, опустившись перед ним на колени, протянул ему свернутый в трубку плотный бумажный лист. Не разворачивая, Петр передал письмо стоявшему справа от него Шафирову. С поклоном приняв документ, вице-канцлер пробежал текст и, наклонясь к уху царя, прошептал:

— Ничего важного, Ваше величество... Просьба о милости.

— Что ты хочешь сказать? — наклонив голову, резко спросил Петр. — Говори!

— Я прошу Ваше величество разрешить мне уехать в деревню и жить там безвыездно, до конца моих дней, — усталым голосом, затверженно произнес Алексей.

Не подымая головы, Петр усмехнулся чуть заметно: не зря Шафиров просидел три дня с царевичем, не зря вдавливал ему в голову каждое слово этого разговора.

— Своим желанием, — еще повысив голос, заговорил Петр, — ты сам, по своей воле лишаешь себя права наследовать наш престол: сидя в деревне до самой смерти, государственному труду не научишься... Согласен ли ты сейчас же, честь по чести, своею же волею подписать акт об отречении?

— Согласен... — с ненавистью взглянув на Шафирову, пробормотал Алексей.

— Громче! — громыхнул Петр.

— Согласен подписать! — подымаясь с колен, повторил Алексей.

— А теперь подойди ко мне и скажи, кто советовал тебе бежать, — свободно откинувшись на спинку трона, сказал Петр. — Ну, подойди же!

Сторонясь Шафирову, Алексей обогнул трон слева и, опершись о его золотой подлокотник, пошептал что-то в отцовское ухо. Петр живо, по-молодому вскочил на ноги и, шагая размашисто, потянул сына в смежную залу. Туда же, малое время спустя, был вызван и Шафиров.

Они вернулись в тронный зал четверть часа спустя — впереди Алексей с руками за спиной, на негнущихся ногах, за ним, парой, Петр с Шафировым. Вице-канцлер, как бы просушивая чернила, легонько помахивал перед собою актом отречения.

— Ты отлично устраиваешь мои семейные дела, — с полуулыбкой наклонясь к коротенькому Шафирову, сказал Петр. — Я тебе этого не забуду...

От такой похвалы и такого обещания Шафиров почувствовал внезапную слабость в коленях и режущий

спазм в горле. Безразлично глядя на то, как Алексей подписывает отречение, он повторял про себя: "Сперва Прут, теперь это... Помилуй Бог!"

Следствие ширилось, скакали курьеры между Москвой, Суздалью и Санкт-Петербургом. Покатились уже первые головы, четвертовали царевичева советчика Кикина, насадили на кол тучного Степана Глебова. По российским кабакам ползли искусно распускаемые слухи: за неразумным царевичем стояли опытные заговорщики, покушавшиеся на жизнь царя, задумавшие Россию отдать на разграбление шведам, немцам и туркам. Да и Алексей — не Петров сын, это теперь точно известно, и Евдокия была сослана в Суздаль за прелюбодеяние. И, раз Алексей сам отрекся, не сносить ему головы: наследника казнить нельзя, сына — можно, а тем более пасынка. Вон, выдрали ж его кнутом не против царской воли! Сам государь пожаловал в пыточный застенок, а с ним светлейший князь, и Толстой Петр, и Шафиров-жид: все главнейшие. Двадцать пять ударов получил изменник, и это только начало!.. Но находились и такие, что жалели царевича — из-под ладошки, шепотом.

Петр, уничтожавший врагов и сдавшихся, и упорствующих, и сильных, и слабых — царь Петр желал смерти сына. Все эти рассказы о тихой жизни в деревне, эти слезные письменные обещания отречься он всерьез не принимал. Будь он на месте сына, он бы долго в деревне не высидел — да и не дали бы ему приспешники, а по смерти отца, наплевав на все торжественные акты, ринулся бы к трону. Это сошвырнуло бы Россию с ее новой дороги, с ее Петровского проспекта. Этого нельзя было допустить. Ради своего грандиозного эксперимента, уже потре-

бывавшего тонны человеческого мяса, Петр пожертвовал при Пруте такой смехотворной в политике и такой жальщей под одеялом штуковиной, как честь. Теперь пришло время пожертвовать сыном. Иного выхода просто не было, и не следовало его искать. И это мясо, и эта кровь должны были пойти на пользу эксперименту.

После пытки царевича Петр не отпустил кнутмейстера Вытащи, сел играть с ним в шахматы. Двигая фигуры, планируя и рассчитывая ходы, царь рассеянно прислушивался к стонам сына, лежавшего тут же, на соломе, в углу: шахматы всегда успокаивали, очищали и просветляли голову. Выиграв, с удовольствием щелкнул Вытащи в лоб и спросил, покосившись в угол:

— Выживет?

— С двадцати пяти кнотов кто хошь выживет! — не затруднился Вытащи. И добавил чуть погодя: — Вот если пятьдесят, и с оттяжкой — тогда дело другое. А я без оттяжки...

Петр поднялся, пихнул ногой шахматный столик, вышел стремительно. Озадаченный Вытащи кинулся подбирать рассыпавшиеся по полу янтарные фигуры.

В тот же день, перед вечером, Шафиров, возвращаясь со службы, завернул к Лакосте. Они давно не виделись, не сидели вдвоем, и вице-канцлер перед самым порогом Лакостовой избы вдруг почувствовал неприятную неловкость: свой, как-никак, человек — а вот живет посреди Санкт-Петербурга в избе, как простой мужик. Давно надо было поинтересоваться, помочь. И эта его несчастная история с доч-

кой... Огорченно вздохнув, Шафиров брякнул молоточком в дверь и вошел в дом.

Хозяин, сидя за столом, ел рыбу. Услышав скрип двери, он потянулся было сдернуть ермолку, но, узнав Шафирова, только поправил ее, оставил на голове. Горка серых рыбьих костей топорщилась на столешнице, как зимний куст. Лакоста аккуратно, ребром ладони сгреб кости в оловянную тарелку, вытер пальцы о салфетку и придвинул стул гостю.

— Я на вас не в обиде, Петр Павлович, — сказал Лакоста и улыбнулся. — Садитесь, садитесь! Я понимаю — вы заняты посильней меня, а мне к вам без дела идти тоже как-то неловко... Глупо, конечно: не виделись больше года. Ну, да я ведь о вас знаю, мне Антуан рассказывает.

— Да, да... — с облегчением согласился Шафиров. — жизнь такая, что просто слов не подберешь... Но я ведь о вас тоже знаю, правда, понаслышке. Как Машенька? Она в Германии?

— Ее больше нет, — сказал Лакоста, глядя в тарелку с костями. — Она умерла в прошлом году от чихотки, в Гамбурге.

— Простите... — выдавил Шафиров. — Простите...

— Да что ж тут прощать? — поднял брови Лакоста. — Это жизнь, и это смерть. Все распределено. Никто ни в чем не виноват. И я, как двадцать лет назад — только не с Ривкой, а с ее сыном. И как будто и не было этих двадцати лет... Яков! — позвал он. — Яша!

Из соседней комнаты косолапо выкатился большеглазый кудрявый мальчик с деревянной сабелькой в руке.

— Вот мы, оказывается, какие! — сладким голосом сказал Шафиров. — Сколько же нам?

— Третий годик, — сказал Лакоста, а Шафиров отвел

сабельку, которой ребенок нацелился в его алмазную звезду на ленте.

— Надо будет обязательно определить его в Преображенский полк, — сказал Шафиров, напряженно следя за рукой мальчика. — Такой боевой.

— Посмотрим... — уклончиво сказал Лакоста, прижимая внука к коленям. — Да ведь туда и берут только дворян.

— Ну, мы-то с вами знаем, какие там дворяне! — усмехнулся Шафиров. — Светлейший князь, например, Александр Данилыч...

Лакоста промолчал, поглаживая ребенка по щекам.

— Да, да, непременно! — с жаром продолжал Шафиров. — Я это устрою, можете не сомневаться... А помните эту пасху, — он наклонил большую голову к плечу, глядел издалека, — и этого дикого еврея из Смоленска, и как вдруг пришел государь.

— Помню, — откликнулся Лакоста. — Его звали Борох Лейбов.

— А ту ночь у Прута, — почти простонал Шафиров, — ночь, грохот, и его мертвый немой шатер, и вы идете туда — помните?.. — Он потрянул головой, букли богато-парика заструились. — Я ведь к вам опять с просьбой, Ян.

Лакоста разомкнул руки, и ребенок, вырвавшись, убежал.

— Вы ведь знаете этого... — Шафиров сдвинул брови, наморщил лоб над переносицей. — Вытащи, кнутмейстера. Он пытал Алексея Петровича.

— Да, знаю, — кивнул Лакоста. — Не скажу, что он мой лучший друг, но он по-своему тоже несчастный человек. И, потом, ведь мы с ним в некоторой степени коллеги.

— Вот-вот! — придвинулся Шафиров. — Это очень важно — то, о чем я вас хочу просить. Никто этого не сделает, кроме вас — только вы один!

— О чем, собственно, речь? — сухо спросил Лакоста.

— О царе, — сказал Шафиров. — О царевиче. О России... Ведь вы любите царя — как я, как все мы?

— Да, — помешкав, сказал Лакоста, — я, действительно, люблю его. Он тоже по-своему несчастный человек — вот как тот же Вытащи. Счастливых людей я не люблю — они либо дураки, либо мерзавцы.

— Царевич Алексей должен умереть, — шепотом сказал Шафиров. — Это решено, потому что это нужно России. Но позорная публичная казнь не в интересах России, не в интересах царя... Вы ведь знаете, Ян — великий Петр сделан совсем не из железа и не из камня. Отцу трудно, невозможно приказать: "Идите, удушите моего сына". Я знаю, отец ждет от нас помощи, и вы...

— Что — я?! — в смятении вскинул руки Лакоста. — Я — шут, царский шут!

— А я не шут? — перебил Шафиров. — Шут гороховый! Все мы шуты — вы, я, Меншиков, Ромодановский — все! И я хочу, хочу быть шутом великого Петра, потому что его величие на нашем шутовстве держится... Ян, идите к Вытащи, он послушает вас. Он должен сказать царю то, что царь ждет, что царь не хочет и не может сказать сам: "Я удушю..."

— Вот если б пятьдесят, и с оттяжкой... — топчась в дверях, мямлил Вытащи. — А я ведь без оттяжки... — Лакоста хорошо все ему объяснил, и он жалел Петра, хотя жалеть царя было очень страшно.

Петр сидел, сгорбившись над заваленным бумагами



столом, глядел на своего шута и кнутмейстера внимательно, но как бы не отсюда, не из этой комнаты, а из Вены: поверх других бумаг лежало донесение Ягужинского о том, что венский резидент Веселовский бежал в Лондон и что англичане противятся его выдаче.

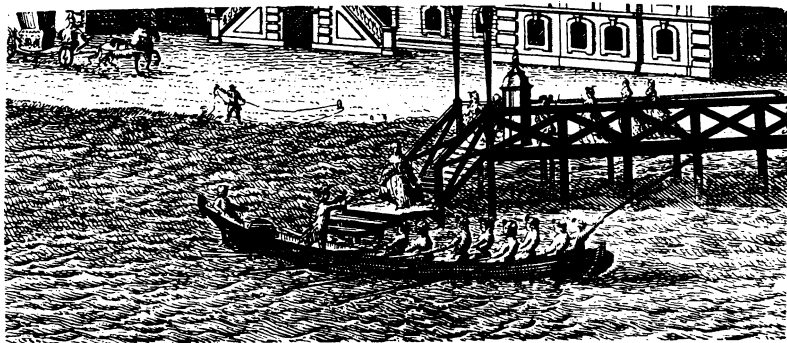
— Да? — сказал Петр, припечатывая донесение ладонью. — Ты что это?

— Так ведь я, государь, Ваше величество, хочу, как лучше, — сбивчиво продолжал Вытащи. — Ты ведь на себя погляди, ты ведь вон как умучился — смотреть страшно! Это ведь надо понять... — Он скривил рот, часто заморгал, то ли всхлип вырвался из его глотки, то ли рык. — Я — его — удушю — и дело с концом... Ваше величество!

Петр медленно подымался из-за стола, неотводно глядя в мутные, налитые слезами глаза Вытащи. Услышав это жданное, желанное "удушу", он не вдруг и понял, кто плачет — полубезумный шут или он сам, отец. Потом пришло: плачут оба.

Подойдя к Вытащи, он крепко взял его за уши, стукнулся лоб в лоб, поцеловал в щеки, выдохнул: — Делай, как сказал...

Они были почти одного роста.



## 11. ЧЕРТОВА КУХНЯ. 1722

**П**резидент Берг-коллегии Яков Виллимович Брюс был озабочен сверх меры: Петра ждали в Олонце уже вторые сутки, приветственные факелы вдоль въездной дороги трижды зажигали ошибочно, истомленный ожиданием народ пьянствовал. Ко всему этому прибавилось злодейское происшествие: злодей украл промасленное рядно, которым была укрыта от мокрого снега торжественная арка, установленная перед воротами железодельного завода и украшенная изречением. Срочным розыском было установлено, что сторож, приставленный к арке, уснул по пьяному делу, и дерзкий вор воспользовался этим. Провинившегося, еще не вполне протрезвевшего, высекли перед временной канцелярией Брюса; это несколько скрасило ожидание.

Отправляясь на прошлой неделе в Олонец из Санкт-Петербурга, Брюс намеревался привести в надлежащий порядок и подготовить к царскому смотру лишь железодельные заводы, Алексеевский и Повенецкий, приписанные к Берг-коллегии. Прибыв в Олонец, утопающий в весенней слякоти и грязи, Брюс решил,

на всякий случай, украсить и город: была воздвигнута арка с изречением, к придорожным елкам приколотили факелы. Заглянув на олоонецкую, на реке Свири, верфь, аккуратный и хозяйственный Брюс расстроился: государь, наверняка, захочет наведаться и сюда, и тогда грозы не миновать. Главные громы и молнии обрушатся, разумеется, на голову Президента адмиралтейской коллегии генерал-адмирала Апраксина — но ведь Апраксин далеко, а Брюс близко, под рукой. А царская рука куда как тяжела, и во гневе бьет без разбора... Стоило, несомненно, подправить-почистить и верфь, и сотня мужичков, срочно переловленных по деревням, отправлена была под конвоем на Свирь, на Лодейное поле: чистить, плести еловые венки для украшения корабельных остовов.

Об Олонецком целебном источнике, открытом по приказу Петра года три тому назад, а до того известном олончанам под старым названием "Чертова кухня", хозяйственный Брюс вспомнил в последнюю очередь — и корил себя за это. Ведь что-что — а источник государь стороной не обойдет! Ведь целебные воды, подобные карлсбадским, ищут по всей России с особым прилежанием, и царь, с его любовью к лечебным процедурам и операциям, лично за этим надзирает!.. Вид зловонной, пахнувшей тухлыми яйцами и болотной тиной струи, лениво выкатывающейся из-под гнилой коряги, привел Брюса в смятение. О воздвижении вокруг коряги курзала с лавками и корытами для купанья нечего было уже и говорить — хватило бы времени на сколачивание какой-никакой приличной будки... Полсотни полупьяных, празднично настроенных горожан было выловлено по дворам и по кабакам и доставлено к источнику не без зуботычин. Близ коряги, в ледяной грязи, были обнаружены гнилые

доски — все, что осталось от старого курзала, сооруженного ко дню торжественного открытия вод, три года назад. Петр прибыл тогда на открытие и с удовлетворением наблюдал длинную очередь олончан, хмуро топтавших у входа в курзал. Не явившимся на торжество грозил кнут, явившимся и проглотившим кружку вонючего пойла обещано было по кружке водки. Сам царь, любопытства ради и для примера сомневающимся, выпил бокал теплой тошнотворной жидкости, напитком остался доволен и приказал олончанам, без различия пола и возраста, принимать целебные воды внутрь, а желающим и полоскаться в них, не реже раза в неделю, для поддержания здоровья организма. Распорядившись, Петр уехал в Санкт-Петербург, а олончане, выпив обещанную им водку, с проклятиями забыли дорогу к источнику. Вскоре курзал пришел в запустение и развалился, к большому облегчению горожан.

Подойдя к коряге, Брюс покрутил острым длинным носом и незаметно сплюнул в сторону: глядя на зловонную, не вполне прозрачную воду, он испытывал тошноту. Вот уж, правда, Чертова кухня! Согнанные горожане сердито лузгали подсолнухи за его спиной.

— Ну, давайте, давайте! — прикрикнул Брюс. — Чего стоите! Плотники, идите сюда! Чтоб не позже заката поставить тут павильон типа бани, вот такой! — он, выдирая ботфорты из грязи, шагами наметил размеры. — И положить дощатые мостки с перилами, тут утонуть можно!

Уже уходя, он подумал, что хорошо было бы и здесь, над входом в павильон, вывесить красочно выполненное назидательное изречение, но, покопавшись в памяти, так ничего оттуда и не извлек.

Вместе с титулом императора, Великого и Отца отечества Петру были поднесены Сенатом крытые сани, вместительные и роскошные. Обшитые изнутри мягкой кожей со множеством дорожных карманов, сани были снабжены окошками и обогревались круглыми медными флягами с кипятком. В задке саней помещалась застланная медвежьей полстью кровать, в голове кровати — походная аптечка со снадобьями и инструментами первой необходимости. Императорский полозный экипаж приводился в движение цугом лошадей, в нем одновременно могли разместиться до пяти человек, правда, в тесноте. Сани, сочетавшие в себе несомненные удобства с последними достижениями строительной и бытовой техники, понравились Петру. В них он пропутешествовал всю зиму, в них отправился и в Олонец по позднему снежному пути.

Вокруг императорских саней скакали драгуны, позади следовала свита в розвальнях, возках и кибитках. Лакоста и Вытащи ехали вместе с поваром в хвосте процессии. Ветер со снегом задувал в щели повозки, шуты и повар, прижавшись друг к другу, кутались в овчинные тулупы.

— Двинься-ка чуток! — попросил Вытащи. — Мне в ящик надо...

Лакоста снял ноги с деревянного палаческого ящика, в котором Вытащи возил свой инструмент: кнут, щипцы для вырывания ноздрей и другие, поменьше, для вырывания ногтей, и тройку медных клейм. Там, в ящике, обмотанный кнутовским хвостом, чтоб не разбился, стоял штоф водки-казенки.

— Пей! — сказал Вытащи, обтирая рукавом горлышко штофа. — А то холодно!

Лакоста отхлебнул, передал штоф повару, и тот то-

же приложился. В обществе Вытащи повар чувствовал себя неуютно.

— Нате вот, держите! — Вытащи разодрал луковицу на три части, разложил куски на ладони. — Сольцы, черт, забыл...

Повар, свесив голову, то ли спал, то ли притворялся спящим.

— Ишь, ты, умаялся! — съязвил Вытащи, привычно чувствовавший беспокойство повара. — Ну, да хрен с ним, мы и сами схрумкаем.

— Едем, едем... — сказал Лакоста, снова удобно опирая ноги о ящик. — Всю жизнь куда-то едем.

— А что ж! — откликнулся Вытащи. — Мы на государственной службе. Куда государь рысью, туда и мы пешком... А как же!

— Была у меня когда-то, давным-давно, одна знакомая, — не слушая Вытащи, продолжал Лакоста. — Близкая знакомая... И вот она взяла и повязала на плетеную корзинку шелковый бант. А — как, когда? Я об этом ничего не знал, и сам никогда не стал бы вязать. А она повязала. Значит, у нее своя жизнь, и мы с ней совсем чужие люди... И зачем я этот случай вдруг вспомнил, Степан, я тоже не знаю.

Вытащи слушал внимательно, сидел неподвижно, втянув голову в плечи, как гигантский филин. Потом, встряхнувшись, сказал:

— Мне вот, знаешь, тоже в голову приходят иногда всякие такие случаи: как я мальцом у бабки горшок разбил, или вот еще такой: тятя мой на столе хлеб делит, а мы все, дети его, сидим, смотрим... Чудно! Потом я про это думаю, думаю, и жалко мне становится всякую тварь: хоть овцу, хоть даже какого жука.

— А себя? — подняв бровь, спросил Лакоста. — Себя — жалко?

— Вот это ты верно говоришь, — хмуро согласился Вытащи. — Себя так бывает жалко, что даже не спишь: лежишь, и все. Вот и жалованье хорошее, и своя изба — а не спишь... Поверишь ли ты мне, — он припал к Лакосте плечом, пробормотал, как что-то стыдное, тайное: — я дитеночком маленьким хочу обратно стать. Страсть, как хочу! А — нельзя...

— Нельзя, — со вздохом повторил Лакоста.

Они замолчали, покачивая головами, дружелюбно глядя друг на друга.

В сером сыром сумраке затянувшегося утра запылали факелы по сторонам дороги, пламя трепетало, как в сквозном коридоре с низким потолком. Но ветер уже гулял по верхам леса, шатал кроны сосен и елок; над тяжелым туманом угадывались голубые прорехи, к концу дня можно было ждать ясной погоды.

На коротконогой караковой кобыле Брюс подскакал к императорским саням и был впущен. Петр глядел хмуро, с силой потирал пальцами прыгающую щеку.

— Знаю, знаю! — отмахнулся он от Брюса. — Завод, небось, заново покрасил! Сколько пушек на станках? Шесть? Ну, хорошо, спасибо... После обеда поедем смотреть.

— Обед ждет, Ваше величество, — доложил Брюс. — Городской голова...

— Нет! — перебил Петр. — Сначала на воды, там и перекусим... Ты воду целебную пьешь?

— Пью, Ваше величество, — соврал Брюс.

— Вот это ты молодец, — сказал Петр. — И чтоб

рабочим заводским по стакану в день выдавали: эта вода дает силу и селезенку укрепляет.

Наспех возведенный над корягой павильон торчал на болотном берегу, как печная труба на пожарище. Драгуны, с ходу заскочив в припорошенное снежком болото, придержали коней.

— Что это никого не видно! — подозрительно глядя то на Брюса, то, в окно саней, на пустынную местность, заметил Петр. — А где больные? И я велел всем, всем пить воду не реже раза в неделю!

— Сегодня по случаю вашего приезда мужиков и баб отсюда насилу разогнали, — нашелся Брюс. — А иные опиваются и тонут в болоте.

— Чем это они опиваются? — недоверчиво спросил Петр.

— Водкой! — разъяснил Брюс, сообразив, что перегнул немного палку. — Они ведь сюда с водкою, как на праздник, идут.

Выбравшись из саней по откидным ступенькам, Петр шагнул на мостки и двинулся к павильону. Свита, разминая ноги, шла за ним. Незаметно отставший Брюс распорядился срочно доставить сюда стол, еды и вина для второго завтрака.

В павильоне было тепло и тихо, лавка из свежеструганых досок огибала корягу, очищенную от тины и грязи и убранный золотой бумагой, как куриная ножка на блюде. Присев на лавку, Петр вытянул ноги и глубоко вдохнул воздух, насыщенный сероводородными парами. На европейских курортах воняло, пожалуй, не так сильно... Наполнив высокую стеклянную кружку, он, запрокинув голову, гулко прополоскал горло, сплюнул под корягу, в бегущий по каналцу сточный ручеек, снова наполнил кружку до краев и теперь уже всю ее, медленно и вдумчиво,



опорожнил. С трудом справившись с рвотными позывами, он еще раз сплюнул, потер пальцами глаза и крикнул в приоткрытую дверь:

— Эй, кто там!

Зальца вмиг наполнилась людьми, дышавшими внимательно. Вокруг царя, сидевшего у раззолоченной коряги, образовалось людское кольцо; все хотели протиснуться от стены или от двери поближе к центру, но каждый, на всякий случай, боялся отделиться от скопища и оказаться внутри кольца, лицом к лицу с мрачным Петром. Так прошла минута или две.

— Ну, что ж вы не пьете? — спросил, наконец, Петр. — Пейте!

Кольцо чуть заметно дрогнуло, передние пятились, не подымая глаз.

— Кабысдоха-покойника на вас нет! — горько сказал Петр. — А то бы он вам сейчас поднес... — И вдруг сорвался, вскочил, потрясая тяжелой тростью черного дерева: — Это ведь для вас, дурачье, для вашей пользы! Сколько вас учить надо! Пейте, а не то я вам в глотки волью!

Кольцо расступалось, редело. Задние выкатились уже наружу и, соступив в толчее с мостков, с проклятьями топтались в ледяной болотной грязи. Тухлый запах чертовой кухни доносился и сюда.

Вытащи, подпирая потолок головой, стоял у стены, глядел на царя преданно. Он никуда не собирался отсюда выходить, пока его не выслали. Вонь он переносил терпеливо, как легкое наказание.

— Эй! — позвал его Петр.

И, пока он протискивался к царю, задние предусмотрительно выкатывались в дверь.

— На! — сказал Петр, протягивая Вытащи кружку. — Пей! Это хорошо! Они ничего не понимают!

Вытащи принял кружку, покорно понюхал, поморщился и перекрестил рот. Потом, выдохнув, закрыл глаза и единым духом опрокинул в себя зловонную жижу.

— Вот видите! — назидательным тоном заметил Петр. — Давай, Вытащи, еще одну: кишечное полоскание облегчает сердце и оттягивает кровь от головы... Каждый человек должен знать свои анатомии, это просвещает и оберегает от болезней... Пей!

Вытащи больше не крестился, не выдыхал. Скрежеща зубами, он поднес кружку ко рту и медленно, через силу выцедил ее под подхлестывающим взглядом царя.

— Ну, как? — спросил Петр, дождавшись, когда Вытащи опрокинул порожнюю кружку себе на макушку, показывая тем, что там не осталось ни капли.

— Да как... — сдавленным голосом пробормотал Вытащи. — Позволь, Ваше величество, поблевать...

— Нет! — резко выкрикнул Петр и ударил тростью в пол. — Терпеть надо! Иначе пользы никакой! Пей, дурак! Еще! — и, зачерпнув из-под коряги, сам подал кружку шуту.

Сделав глоток, Вытащи зашатался, выронил кружку и, закрыв лицо согнутой в локте рукой, бросился вон. На мостках он поспешно сунул два пальца в рот и, рыча, перегнулся через перильца. Легкие деревянные перильца заходили под ним ходуном.

— Порченный человек, — прислушиваясь к реву Вытащи, сказал Петр. — У него желудок гнилой необратимо, его и целебная вода не вылечит: раньше надо было начинать.

А Вытащи, разогнувшись, побрел к своей повозке, достал штоф из ящика и долго пил, запрокинув голову и заодно глядя на красивые голубые прорехи в посветлевшем небе.

Между походным вторым завтраком и обедом у городского головы поехали смотреть завод. Не доезжая ворот, у раскутанной арки, перед императорскими санями вытянулся в струну бессонный сторож и высыпали из укрытой еловыми лапами ямы, как из-под земли, крепкие красномордые гудошницы в новых лаптях. Прискакивая и крича песню, девки ударили по струнам, а Брюс, придумавший это явление гудошниц из ямы, вздохнул свободно: царь, кажется, остался доволен.

Арку.Петр осматривал придирчиво, со знанием дела. Выкрашенная в семь цветов спектра, она изображала собою радугу, перекинутую над дорогой. В высшей ее точке, на деревянной площадочке, красовалась потешная бронзовая пушечка, размером не более собаки. Изречение, составленное от имени пушечки, гласило: "С искусным бомбардиром дострелю и до Персии".

Под музыкальный шум и песню гудошниц Петр дважды обошел арку и одобрительно кивнул Брюсу: хорошо, красиво! И ни у кого не возникает сомнения, что искусный бомбардир — это сам государь-император Петр Алексеич, собирающийся в поход против персов, дерзко обижающих братский азербайджанский народ. И в результате этого похода, с помощью олонецких пушек, великая Россия освободит угнетенных азербайджанцев, диких кавказцев и прочих армяшек... Просто и доходчиво!

Завод тоже был хорош, мастера умелы, а работники расторопны. Петр, надев фартук, бегал по цеху, пил квас из бадьи, давал советы, учил, проверял, шутил, ругался и дрался. Старый Брюс еле за ним поспевал. Щека царя более не дергалась, физическое напряжение и деятельная суета привели его, как всегда, в хорошее расположение духа. Он забыл о своем плане поить рабочих водой из-под коряги, он раскраснелся, он любовно глядел на Брюса блестящими круглыми глазами. Перед тем, как собственноручно пробить летку и пустить металл, он пожелал непременно подняться на домницу по крутой и узкой, с редкими деревянными ступеньками лестнице. Брюса обдало жаром: он не предусмотрел такой возможности, ему и в голову не пришло укрепить истертые, разболтанные планки. Однако прямо призывать Петра к благоразумию было бесполезно, и Брюс знал это.

— Лесенка эта предназначена для людей мясных, — осторожно заметил Брюс, — а вы чугунный, Ваше величество: тут во всем заводе никого нет с вашим весом, и, по физическим законам...

Поставив ногу на нижнюю ступеньку, Петр огляделся — он, действительно, был длинней других людей чуть ни на целую голову. Один только Вытащи, привычно подпиравший стенку у дверей, был ему почти вровень, а в плечах еще и пошире.

— Эй, Вытащи! — позвал царь. — Слетай-ка мигом вон туда, наверх! Ну, живо!

— Да потопай там, потопай! — озабоченно добавил Брюс.

Снизу они, задрав головы, смотрели, как Вытащи с опаской ставил ноги на шаткие ступеньки. Нако-

нец, он поднялся на тесную, в три доски, площадочку и, как ему было велено, потопал там и попрыгал.

— Тут жара, Ваше величество! — сообщил он радостно, как будто сделал важное открытие, которым можно гордиться.

— Теперь слезай! — нетерпеливо крутя головой, сказал Петр.

Первая же планка, на которую шагнул Вытащи, хрустнула и подломилась под его тяжестью. Взмахнув руками, он схватился за край домницы, пальцы его соскользнули и он, изогнувшись в поясе, полетел вниз головой на груды железных брусков, сваленных у подножья печи.

Первым к упавшему подошел Петр, склонился над телом, строго заглянул в залитое кровью лицо. Потом, резко разогнувшись, обернулся, кого-то ища. Перед ним стоял Лакоста, глядел, что-то пришептывая, на Степана.

— Лекаря, Ваше величество? — отгадывая желание царя, быстро спросил Лакоста.

— Принеси-ка мне из саней мою походную аптечку! — приказал Петр. — А его, — он кивнул на лежащего, — вынесите на волю, темно тут.

Несли на рогоже, с осторожностью: раненый еле слышно стонал, да и спешить было некуда. Люди, оставив работу, шепотом обсуждали происшествие:

— Это он гнилой воды напился на Чертовой кухне, у него голова кругом и пошла!

— Засыпать надо, братцы, корягу и камнем привалить, а воду пустить в болото: пусть течет!

— Молчать, молчать! — покрикивал Брюс. — Без вас разберутся!

От царя ждали чуда, немедленного исцеления. Появление Лакосты с аптечкой еще подбавило веры:

блестящий лаком драгоценный сундук с серебряными уголками, со множеством ящиков и ящичков, производил сильное впечатление. Расступившись перед спешащим Лакостой, толпа затем сомкнулась и, вытянув шеи, молчаливо и зорко ждала.

Вытащи лежал у ног царя, на снегу, чуть припорошенном сажей. Он лежал на спине, большое белое лицо, с краю зачерненное кровью, глядело в студеное высокое небо. Ветер рассеял и разогнал тучи, было сухо и холодно.

Откинув крышку аптечки, Петр разложил на ней, как на столике, несколько хирургических инструментов, при взгляде на которые человек испытывает невольное смятение: ножницы, нож, какие-то иглы, зеркальце на длинной ручке. Из плоского хрустального флакона смочив тряпицу, он протер лоб и висок Вытащи, состриг окровавленные волосы и осмотрел рану. Низко нагнувшись, оттянул губы, веки. Потом, удобно уложив в ладони короткий нож с серебряной рукояткой, одним длинным легким движением распорол ему кафтан вместе с нательной рубахой от горла ниже пояса.

— Ближе, ближе подходите! — не оборачиваясь, крикнул он толпящимся. — Сейчас будем анатомии смотреть!

— Он жив еще, Ваше величество! — не спуская глаз с полоски светлой стали в царской руке, прошептал Лакоста. — Он дышит!

— Почти не дышит, — приблизив ухо ко рту Вытащи, удостоверился Петр. — Остатки воздуха выходят... Полезный он был человек, и смерть у него полезная. Каждый должен свою пользу приносить — он, ты...

Скользнув лезвием по коже, он тотчас же, вторым

проводом расширил и углубил надрез и вскрыл брюшину. Над черной щелью поднялось облачко пара и рассеялось.

Окостенев от ужаса, Лакоста продолжал смотреть туда, где только что витало над телом это страшное облачко, а потом заглянул в щель, как в гибельную трещину, открывшуюся у него под ногами. Петр запустил руки в щель и, тихонько побряхтывая, раздвигал ее стенки. Нащупав что-то гладкое, выскальзывающее, он потянул это, подрезал ножом, дернул с яростью, вырвал и выпрямился с кровавым шматком в руке.

— Что это? — оборотясь к толпе и показывая, спросил он.

Толпа молчала оглушенно.

— Эй, ты! — вызвал он тощего парня с красными насморочными глазами, стоявшего поближе. — Отвечай: что это?

— Кишка, Ваше величество, — шмыгнув носом, неуверенно сказал спрошенный.

— Дурак! — крикнул царь. — Печень это! Знать надо!

Положив шматок на снег, он снова погрузил руки в щель, тянул и дергал.

— Это — что? — потряс он тяжелым красным мешочком перед лицом плешивого деда в армяке.

— Да кишка! — дерзко глядя, сказал дед. — Чему ж в брюхе-то быть!

— В брюхе, помимо кишок, много чего помещено, — обращаясь к толпе, объяснил Петр. — А тебе, дед, пятьдесят розог за нерадение... Ну, дальше!

Дальше была селезенка, обрывок легкого, сердце.

— Это — что?

— Сердце, Ваше императорское величество!

— Верно. стакан водки тебе.

Был желчный пузырь, желудок, прямая кишка. Были розги, была водка. Было полезное, в сущности, учение.

Запахнув требуху обратно в щель, Петр вытер руки о подол фартука, сказал:

— В анатомиях каждому надлежит разуметь непременно.

Городской голова Леонтьев по праву считался могучим едоком, но отнюдь не гурманом: для него терев был лучше рябчика лишь оттого, что больше. В питье Леонтьев тоже понимал толк, особо отмечая брусничную водку.

Выспросив у Брюса о застольных вкусах царя все, что было возможно, Леонтьев решил блеснуть не только количеством ед, но и игривым остроумием: среди мяс и рыб, каш и солений водружен был на возвышении, на чеканном татарском блюде олешек с позолоченными рогами и копытцами. Раскояченные ножки зверя были уперты в борта блюда, голова наклонена, морда чуть притоплена в бадейке с вином. Серебряная цепочка тянулась по столу от олешка к цареву месту, и, по замыслу хозяина, Петр должен был дернуть за эту цепочку в надлежащий момент.

Намерзшиеся на заводском дворе гости рассаживались с шумом, пялили глаза на забавного олешку, а потом поглядывали на царя: как ему нравится. Петр, приняв от хозяина чару брусничной, выпил залпом, закусил соленым груздем и, не сомневаясь в назначении цепочки, собрался было дергать: люди ждали, что из этого выйдет, да и ему самому было любопытно. Городской голова, приготовивший речь



и намечавший дерганье лишь к середине обеда, поспешно вскочил на ноги.

— Ваше императорское величество! — начал Леонтьев. — Этот лесной, можно так сказать, князь принес вам, Великому государю, в своем нутре, то есть, значит, в естестве...

Не слушая хозяина, Петр потянул за цепочку. Брюхо оленя раскрылось, на блюдо посыпались обжаренные в масле потроха: сеченые кишки, почки, сердце. Гости приглушенно, восторженно загомонили, зашептались.

А Лакоста, глядя на дымящуюся грудку, видел перед собою своего коллегу Степана Вытащи, и царя Петра не с цепочкой, а с лекарским ножом в руке. "Сегодня — его, завтра меня, — горестно твердил про себя Лакоста. — Этот гениальный безумец всю Россию распотрошит, как несчастного Степана, чтоб посмотреть, что там внутри... Чертова кухня! Господи, помилуй!"

Гости пили, ели, чавкали.

Довольный хозяин ловко сдирал с жареного оленя пятнистую шкурку.

Назавтра, накануне отъезда, Лакосту позвали к Петру, в сани. Петр лежал, закинув руки за голову, на кровати, на медвежьем одеяле. В экипаже пахло свежей хвоей и было тепло: медные грелки только что наполнили кипятком.

— Я за тобой вчера смотрел, — сказал Петр, указывая Лакосте место рядом с собой. — Что-то ты, шут, грустный!

— Я старый и жалкий, — сказал Лакоста. — И, потом, я никогда не слышал о веселых шутах.

— Это как же? — Петр чуть приподнялся, чтоб лучше слышать.

— Шут должен быть смешным, а не веселым, — сказал Лакоста. — Кабысдоха я бы тоже не назвал веселым человеком.

— Ну, Кабысдох был не человек, а так... — сказал Петр. — А — Вытащи?

Лакоста промолчал, глядя в сторону.

— Сперва анатомии, потом вдруг эти олени потроха — как ты это понимаешь? — еще привстав, глухо спросил Петр.

— Совпадение, — помедлив, ответил Лакоста. — Просто неприятное совпадение.

— Врешь, — снова ложась, сказал царь. — Ты говорить боишься...

— Боюсь, — кивнул Лакоста. — Шутам это не запрещено.

— Вытащи тоже боялся, — сказал Петр задумчиво. — Ты боишься. Это разумно... Но как же это, все-таки, так получилось: анатомии, а потом вот жареные потроха. А? Не бойся, говори.

— Я боюсь, но я скажу, — сказал Лакоста. — Если б вы, Ваше величество, не устроили демонстрацию человеческих потрохов, то и вид оленьих вас ничуть бы не смутил. И Степан Вытащи, может, был бы сейчас жив.

— Ты этого не можешь понимать! — перебил, прикрикнул Петр. — Я медицинам обучен, а ты нет... Вытащи все равно бы умер, он шею себе свернул... — Петр вдруг приподнялся на локте, придвинулся к сутуло сидящему Лакосте: — А ты знаешь, скольким он шею свернул? И — кому? Вот и его время пришло.

— Тогда олений рубец — просто закуска, и больше

ничего, — покрывив губы, сказал Лакоста. — Как пирог или каша.

— А если б он жив остался, — продолжал Петр, — он многих бы еще в смерть ввел. Может, и тебя...

— У нас есть такая поговорка, — еще сильнее сгорбившись, сказал Лакоста: — "Не гляди долго на солнце и на царя". После Прута, Ваше величество, я каждый день живу как бы по счастливой ошибке: мне не полагается, а я все живу. Я тогда, на той проклятой речке, слишком близко подполз к царю. Это было страшно, но прекрасно; и я должен был превратиться в пепел. И не я один.

— И не ты один... — то ли подтвердил, то ли просто повторил Петр. — На той речке новая трава выросла, и тропа шафировская затянулась: никаких следов нет. И турки ниже травы и тише воды в той речке, а Россия во славе и величии.

— А русские люди? — подал голос Лакоста. — Что им в этом величии? Новые сапоги? Или лишний кусок мяса?

— Вот ты умный, вроде бы, человек, а все со своей кочки видишь! — усмехнулся Петр и вольно откинулся на подушки. — Россия — алмаз, а людишки — глина. И царь, вождь лепит из этой глины что хочет и что может: сколько надо образцовых солдат, сколько надо ученых людей или там купцов... А в чем людишкам ходить, тоже мне решать: солдату удобней в башмаках, а с крестьянина и лаптей довольно. И от того, кто в чем ходит и что ест — от этого российский алмаз ни крупней не станет, ни блестящей.

— Вождь людей на войну ведет, — угрюмо возразил Лакоста, — вождь без войны не живет...

— А кто б мне без войны Санкт-Петербург дал, Азов? — с иронией в голосе спросил Петр.

— А — зачем? — чуть слышно сказал Лакоста. — Ради алмазной России, ради национальных интересов? Но национальные интересы это и есть новые сапоги и лишний кусок мяса. Разве русские люди стали счастливей оттого, что их царь завоевал Азов и Санкт-Петербург? Степан Выгаша, верный слуга — стал счастливей?

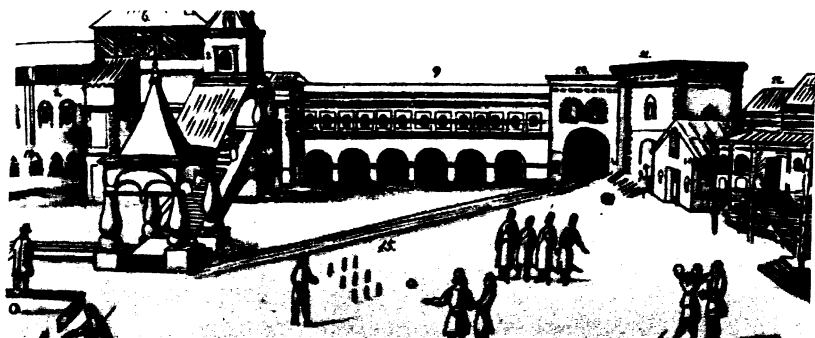
Петр засопел сердито, спросил, помолчав:

— Ты сколько лет в России живешь?

— Скоро двадцать пять лет, Ваше величество, — сказал Лакоста.

— А — чужой! — крикнул Петр. — Все по своей жидовской мерке меришь! Был бы у тебя истинный царь и отечество, ты бы по-другому думал, а так от твоих разговоров один вред и смущение умов... Уходи!

В повозке теперь стало просторно: молчаливый повар жался к стенке, глядел из тулупа испуганно, а Степана везли в открытых розвальнях, в дощатом гробу. Покосившись на повара, Лакоста поставил ноги на Степанов ящик и закрыл глаза. Он предполагал, что послепрутская счастливая ошибка будет исправлена сразу же по возвращении в столицу. Только одно необходимо успеть сделать: отвести Яшу к Шафирову. Во дворце вице-канцлера найдется место для внука Яна Лакосты... Впрочем, как это сказал государь Петр Алексеевич: "И не ты один".



## 12. НА ПЛАХЕ. 1723

**У**з окна подвала Преображенского приказа — узкой зарешеченной щели, выходящей во внутренний двор — залитый мочой лежалый снег казался Шафирову свежим хлебным мякишем, а огрызок серого февральского неба — драгоценной орденской звездой, недостижимой. Сидя на цепи, в холодном грязном подвале, Петр Павлович никого не проклинал и никого не прощал; он думал о том, подписал ли уже царь помилование и еще о том, что эта дурацкая медвежья цепь, в сущности, совершенно ни к чему: он и без цепи никуда бы отсюда не делся.

Петр Павлович Шафиров не был ни бит, ни пытан. После ссоры с Меншиковым в Сенате и учреждения по этому случаю специальной Следственной комиссии грядущая судьба вице-канцлера словно бы вовсе утратила связь с его словами и поступками и направлялась исключительно внешнею злою силой. Шафирова никто ни о чем всерьез не спрашивал и не слушал его объяснений, как будто и так все с ним ясно — Тому, Кому Надо. А Тот, Кому Надо, вернувшись из Персидского похода, шафировские поздравления вы-

слушал холодно и рассеянно, а меншиковские — с доброжелательной улыбкой. И из этого следовали выводы неутешительного свойства.

Сидя на цепи, на гнилой соломе, Шафиров размышлял над тем, что не Меншиков истинная причина его несчастья и уж, конечно, не этот баран Скорняков-Писарев, сенатское обер-прокурорство получивший за то, что быстро скакал в Суздаль и успешно справился там с Евдокией Лопухиной в ее монастыре. Гришка Скорняков-Писарев, балбес, даже не понимает, что эта история и ему боком выйдет: это он Суздальский розыск вел на месте, он поневоле нос свой сунул в царские дела — теперь вот нос ему и отрубят, и хорошо бы не вместе с головой. А Меншиков, будь он проклят, только огня к пороху поднес своим доносом: Шафиров, мол, в Сенате ругался матерно, и что он вор, и брату своему жалованье за полгода уплатил незаконно... Ворочаясь на соломе, Петр Павлович искренне сожалел о том, что в свое время не задушил Алексашку насмерть — тогда, в Китай-городе, в Панских рядах: было б одним босяком и разбойником меньше на белом свете. Тогда не достарался, не додушил — и всю жизнь за это расплачивался, а теперь вот пойдет на плаху. Конечно, дивно было бы уволочь светлейшего князя с собой; но не пришло еще его время.

Время это выбирает и пальцем указывает Петр: "ты", "ты". На колесо, на плаху, в ссылку. И какая разница, что тому выбран за повод — украл миллион или родному брату переплатил три копейки. Вон Богдашка, Скорнякова-Писарева брат, при межеванье Почепских земель приписал Меншикову немало чужих угодий — ну, и что? Шафиров донес государю о злодействе — а где награда? Вот она, награда: цепь да плаха.

Знает Петр Алексеич, великий государь, что после того доноса еще пуще возненавидел Меншиков Шафирова, только и искал его погибели — а назначил в Следственную комиссию Головкина, тоже наипервейшего врага. Да разве Головкин забыл ту прутскую проклятую ночь, когда Шафиров так недипломатично брякнул в лицо своему начальнику: "В эту ночь я спас Россию! Я!" Вот и спас... Конечно, голову ему не снесут, Петр отменит казнь, эта цепь и эта вонючая солома — только декорация к спектаклю под названием "Торжество справедливости". Автор пьесы — царь. Картины: следствие, суд, расправа. А что ждет главного актера после конца этой дурацкой и пошлой комедии? Нищета, позор, смерть. И место в истории, незыблемое, как зазубрина на топоре... Что за чертовщина, при чем тут топор! Царское помилование, верно, уже лежит в кармане у Макарова.

Уверенность в помиловании была нерушима. Без этой уверенности Шафиров давно бы принялся поволчьи грызть железо, биться головой о стену. Ему, Шафирову, Петр не отрубит голову, не лишит его жизни! Приговор — не более, чем фарс!.. Но так трудно было дожить до утра эту последнюю перед казнью ночь.

Жену с дочерьми, уверив их в благополучном исходе дела, Шафиров еще позавчера отослал в Санкт-Петербург: так или иначе, позор ему предстоял, и он не желал, чтобы близкие видели его позор. Теперь, посреди последней ночи, он сожалел о том, что нет с ним родной души. Думая о своем собачьем одиночестве на этой проклятой соломе, он почувствовал теплую тяжесть в глазах, вытер слезы рукавом худой шубейки и выругался устало: "Ну, разнюнился! Пальцем не тронули, свидания дают — все будет в порядке!" Гро-

мыхнув цепью, он прилег на бок и попытался уснуть, чтобы убить время. Но сон не шел к нему. С кулаком под головой он лежал на заплыванном полу — но почему-то не чувствовал ни сырого холода каменных плит, ни давящей тяжести ошейника, как будто это жирное холеное тело уже не было его телом и не имело никакого отношения к его душе. А душа была в масляном лунном луче, косо падающем в зарешеченное оконце, и в зарослях прутского кустарника, и в библиотеке Санкт-Петербургского дворца, и на еврейском смоленском кладбище, и в Панских рядах Китай-города — повсюду. И здесь, на цепи, тоже.

— Петр Палыч, дорогой!

На пороге, согнувшись в дверном проеме, стояла Анна Даниловна Меншикова.

— Меня Антоша послал, я и поехала, — зачастила Анна Даниловна, с ужасом оглядывая подвал. — Господи, Боже мой!.. — Подойдя к Шафирову, она тихонько заплакала: в растрепанном парике, на цепи он был похож на старого облезлого пса со слезящимися глазами.

— Антоша сказал, что все будет хорошо! — всхлипывая, сказала Анна Даниловна. — Он сказал, что сам приехать никак, ну, никак не может...

Это Шафиров мог понять и принять без боли. Он и сам, окажись Дивьер на его месте, не поехал бы. И жену бы, пожалуй, не послал.

— Меня оболгали, — сказал Шафиров, садясь. — Анна Даниловна, милая, вы должны это знать: меня оболгал и погубил ваш брат.

— Знаю! — прошептала Анна Даниловна и махнула рукой. — Мне Антоша все рассказал, как было! Александр Данилыч поганый и на нас когти точит, и на нас...



— Он мне крикнул, — возвращаясь к той сцене в Сенате, закипая, продолжал Шафиров: — ”Ты меня, смотри, не задуши!” Это чтоб я его не задушил... — Он усмехнулся, мечтательно покачал головой. — А я ответил громко, чтоб всем слышно было: ”Это ты можешь всех нас убить!” И это правда, все это знают.

— Правда, правда... — чуть слышно подтвердила Анна Даниловна. — Только вы потише, Петр Палыч, дорогой, Антоша тоже про это всегда тихо говорит.

— Да, да, вы правы... — согласился Шафиров и тут же снова повысил голос, задвигался, забренчал цепью: — А Скорняков взятку от князя получил, сто дворов, и Скорняков, вор, мне тридцать дворов из тех ста предлагал, чтоб я глаза закрыл на Почепское дело! А я не согласился, потому что они все враги мне! Меня, Шафирова, хотели вывести из зала! Меня! Дежурный офицер хватал меня за грудки!

— Тише, Петр Палыч, тише! — Анна Даниловна поглаживала Шафирова по плечу драной шубейки. — Поберегите себя, все обойдется!

— Я знаю, — сердито пробормотал Шафиров, — знаю, что обойдется. А что будет с моими дочерьми? У меня все заберут, кроме остатка жизни. Это — расплата, награда за труд.

Он замолчал. Жаль, все же, что не пришел Дивьер. Ему — да, а Меншиковой не стоит говорить, что думаешь: ”Награда за Прут”. Да она и не поймет. Дивьер-умница бы понял, и еще Лакоста. Но Лакоста в Санкт-Петербурге, его сюда, в Москву, из его избенки не выманишь. Но и его черед, пожалуй, может придти: ”Награда за Прут”.

Шафиров повел плечом, Анна Даниловна убрала белую руку. Хорошо бы снова остаться одному, и закрыть глаза, и скользнуть вверх по этому холодному

лунному лучу — в Смоленск, и в уютный дворец Голштинского курфюрста, и в Санкт-Петербургскую библиотеку с мягкими кожаными креслами.

Он не слышал, как вышла Анна Даниловна, не знал, сколько времени спустя после ее ухода появился Лакоста.

— Это вы.. — очнувшись, сказал Шафиров. Стоя перед ним, Лакоста пресек своим черным гибким телом лунный луч, и связь с миром прервалась, и Петр Павлович снова очутился в подвале, на цепи. — А я, знаете, хотел, чтоб вы пришли. Именно вы.

В прыгающем свете свечи щетина на щеках Лакосты серебрилась. Его глаза в темных подбровных ямах были похожи на жухлые табачные листья.

— Я подумал, что, может быть, это вам будет приятно... — пробормотал Лакоста. — И я... ведь вы понимаете...

— Послушайте, — насутился Шафиров, — самое страшное мне не грозит. Царь, наверняка, уже подписал помилование.

— Слава Богу! — крылато взмахнул руками Лакоста. — Слава Богу!.. Это ведь вы точно знаете?

— Постольку, поскольку еще существуют на свете точные понятия... — снисходительно усмехнулся Шафиров. — Шафировскую голову не так-то легко отрубить. И, говоря между нами, государь, с его вкусом ко всяким забавным затеям, мог бы меня посадить и на золотую цепь.

— Какой вы мужественный человек, — помолчав, задумчиво сказал Лакоста. — Я бы, пожалуй, не смог так шутить...

— На моем месте, вы хотите сказать? — подхватил Шафиров. — Но почему же? Если вы говорите об этом месте — то это дело временное: до завтра.

А настоящее мое место, — Шафиров разогнулся, лицо его приняло холодное и надменное выражение, — я обживал два десятка лет. Другой давно бы поскользнулся, шею себе сломал, а я держался. И вот мне — мне! — подсовывают какого-то офицеришку, семенем то ли скорняка, то ли писаря... Что это вы улыбаетесь?

— Я радуюсь за вас, — сказал Лакоста. — После всего пережитого у вас еще есть силы так кипеть!

— Вы знаете, — продолжал Шафиров, — что этот подлец мне осмелился заявить? Что я, барон Шафиров — сын боярского холопа Шаюшки, притом жидовской породы! Это он м н е ...

— Но ваш отец, благословенна его память... — вставил Лакоста.

— Моего отца звали Пинхус, или, по-русски, Павел, — строго сказал Шафиров. — И какое, скажите вы мне, до этого дело скорняку-писарю? Он мне говорит "жид", как будто я какой хромой или кривой, и вот он над этим смеется. А я и не кривой, и не косой. Я такой же, как они все. Вы меня понимаете?

— Нет, Петр Павлович, не такой вы, как все, — тихо, убежденно сказал Лакоста. — Это вы только хотите так думать, и вам кажется, что так оно и есть. Для приятелей ваших вы еврей, а для неприятелей — жидовская морда.

— Но я крещен! — перебил Шафиров.

— Ну и что! — пожал плечами Лакоста. — Какое это имеет значение для Скорнякова-Писарева? А для вас, между нами говоря, это имеет значение? Ну, служебное: без этого вы не смогли бы стать тем, кем стали.

— А для вас? — покосился Шафиров.

— Никакого, — сказал Лакоста. — Ну, так вы не

раввин. Но вы настоящий, чистокровный еврей, чудом спасшийся от страшной смерти.

— Но Скорняков-Писарев, — снова запыхал, разгораясь, Шафиров, — он меня ненавидит и как жида, и как крещеного еврея. Это же, в конце концов, просто бессмыслица! Разве я не прав?

— Почему мы всегда ищем любовь к себе как к евреям, а не просто как к людям! — не отвечая Шафирову, сказал Лакоста. — "Русские не любят евреев". "Немцы любят евреев"... Ведь если какой-нибудь Мойше разбойник и вор, то он разбойник и вор не потому, что он еврей, а потому, что он плохой человек. А если Мойше герой и все его любят — значит, он хороший и мудрый человек, и его еврейство здесь ни при чем.

— Это только мы понимаем, — с сомнением в голосе сказал Шафиров.

— Если бы понимали! — вздохнул Лакоста. — Если б мы это понимали, то отделались бы от многих неприятностей. С одной стороны, мы хотим быть, как все, а с другой стороны боимся этого, как огня... Вот Петр Алексеевич сказал мне: "Был бы у тебя истинный царь и отечество, ты бы по-другому думал". Пока у нас нет своей земли, мы не можем быть, как все. А если у нас появится своя земля и свой царь — мы станем, как все, но тогда мы перестанем быть евреями... Вы стали бы служить шутком собственному царю — такому же еврею, как вы? А вот я, Петр Павлович, не уверен в том, что стал бы.

— Это вы к чему? — глухо спросил Шафиров.

— Просто вспомнил ваши же слова, — сказал Лакоста: — "Все мы шуты великого Петра, и его величие на нашем шутковстве держится".

— Да, да, — опустив, сколько позволял ошейник,

голову, сказал Шафиров. — И тут никакой разницы нет, жид ты или скорняк-писарь. Меншиков Алексашка русак-русак, а и его черед придет, и я, даст Бог, еще над ним посмеюсь. Здесь ведь дело не только в Почепе! — Шафиров снова поднял голову в кудлатом парике и кричал. — Здесь ведь глубже! Это он, Меншиков, на сальном и рыбном промысле в Архангельске проворовался и меня хотел за собой потянуть! А я не дался, я сухим вышел из воды! — Он кричал и тряс головой, и не манил его больше лунный луч, и присутствие Лакосты не связывало — он о нем забыл. — Светлейший князь — вор, он с малых лет воровал! Он думает, что меня подмял, победил — дудки, хрен тесовый! Он мне тридцать дворов... Да я и за тыщу дворов ему не продам, у меня у самого три тыщи есть — я лучше на его позор, на смерть его поганую полюбуюсь! Меня-то помиловали, а ему-то, псу, милости не будет!

Отбушевав, дыша тяжело, Шафиров повернулся к Лакосте и не обнаружил его рядом с собой, на его месте. Тогда он, зябко поведя плечами, поплотней закутался в шубейку и прислонился спиной к стене. Светало.

Сани были простые, черные. Сена в них набросали щедро, и сидеть было почти удобно; и Шафиров счел это добрым предзнаменованием.

Сильная лошадь волокла сани из Преображенского мимо заставы, по утренним улочкам предместья — к Кремлю, к Лобному месту. На взлобке, по всей Красной площади и за ее рубежами густо толпился народ: не какому-то бродяге, не разбойнику с большой дороги будут сегодня рубить голову — вице-канцлеру Шафирову. Ради такого дела стоит и мерз-

нуть, и толпиться. И хотя все казни, как и все бабы, почти ничем не отличаются друг от друга — хочется, ой, как хочется честному народу отведать барской бабьей сладости, поглазеть, как катится голова с плеч барона или князя! И мясо одно, и кровь одна, а — интересно...

Проезжая мимо китай-городского рынка, откуда начиналось столпотворение, Шафиров завозился в сене, сердито заворчал: толпитесь, дурачье, толпитесь! Вам придется обмануться в ваших надеждах: баронская голова останется на плечах. Ну, что нужно тут этому кривобокому недоноску, проталкивающемуся с каким-то грязным мешком с рынка на площадь! Или вон той сопливой бабе с ребенком на руках — она что забыла, что оставила на площади? Крови ей захотелось понюхать, барской крови! Торговала бы себе в рядах своим тряпьем, или пирогами, или чем там... Он вдруг вспомнил лавку купца Евреина, и себя за прилавком, и улыбнулся. И, увидев улыбку на лице приговоренного к смерти, сопливая баба вскрикнула высоким голосом и вылупила глаза.

Чем ближе к эшафоту, тем больше становилось солдат. Покрикивая и помахивая бердышами, они теснили толпу, освобождая дорогу для саней и конвоя. Два священника с крестами в руках шли по сторонам саней, не глядя на приговоренного. Палач в кумачовой рубаше праздно стоял, прислонившись плечом к каменной стенке эшафота, и высокомерно глядел на людей.

Сани остановились, и Шафиров, поддерживаемый двумя солдатами конвоя, тяжело выбрался в снег. Парик съехал ему на левое ухо и, прежде чем двинуться к эшафоту, он его аккуратно поправил двумя

руками. В сочетании с худой шубейкой высокий роскошный парик выглядел нелепо.

На эшафот вела узкая крутая лесенка, и Шафиров с кряхтением по ней поднялся. Рядом с плахой стоял уже секретарь Сената Макаров — тот, что должен был читать приговор и помилование. Шафиров попытался поймать его взгляд, прочитав в нем это "государевой волею помилован", но Макаров глядел пусто, мимо. Палач, цыкнув слюною сквозь зубы, провел ребром ладони по плахе, сметая с нее свежий снежок. Толпа примолкла, тысячи глаз нацелены были на осужденного.

Макаров шагнул вперед с развернутой грамотой в руке.

— Виновен в ослушании... — невнимательно слушал Шафиров, — в противном толковании, в нарушении порядка и благопристойности в Сенате... в присвоении знатной суммы... в нарушении установленного порядка... в необъявлении в предписанный срок беглых крестьян...

Сухой снежок падал с неба, засыпал помаленьку плаху. Шафиров подумал о том, что приятно, должно быть, прижаться разгоряченным лицом к холодному дереву.

— За сии преступления, — слушал дальше Шафиров, — приговорен к лишению чинов, достоинств, имения и самой жизни через отрубление головы.

Свернув грамоту, Макаров отошел в сторону. Изобретателен государь Петр Алексеевич, ах, как изобретателен! Вот сейчас бы и объявить помилование — так нет, это ведь так вышло бы скучно и недраматично! Куда острее довести все до самого последнего момента, до вздоха толпы, до палача, танцующего

с топором в руке! Чем-чем, а эффектом государь Петр Алексеевич никогда не поступался...

Помощники палача содрали с Шафирова шубейку, сдернули с него парик. Теперь перед народом стоял не вице-канцлер барон Шафиров, а плешивый старый еврей, на коротких ногах, безобразно толстый. И это тоже было интересно.

Подойдя к плахе сбоку, Шафиров с трудом опустился на колени и положил голову на срез. Затянувшаяся, все-таки, комедия! Запорошенное снегом дерево холодило щеку. Что же молчит Макаров? Сколько, Господи Боже, это еще будет тянуться!

Помощники палача набросились молча, схватили, повалили на приставленное к плахе бревно. Лежать на бревне было неудобно, мешал живот. Один из помощников сел на вытянутые ноги Шафирова, на щиколотки. Краем глаза Шафиров видел Макарова, и как он подал знак палачу. И, распластанный, придавленный, Шафиров в этот миг понял, что помилования нет, что Макаров дочитал грамоту до конца. Еще он увидел ноги палача, легко пританцовывающие. Потом ноги застыли на месте, и палач, замахинаясь, чуть привстал на носки. Выдох толпы совпал с выдохом палача: "Кха!" Шафиров не почувствовал боли, только услышал тупой и страшный хряск топора. Удивительно было, что картина перед глазами Шафирова: круглый край плахи, часть эшафота и люди внизу — не изменилась, а только утратила резкость и поблекла. Звуки же доносились до него, как сквозь вату.

— Его государевой милостью, — услышал он скрипучий голос Макарова и, поведя глазами, увидел перед собой топор, глубоко врубившийся в плаху



рядом с его шей, — за оказанные им государству услуги, смертная казнь заменяется ссылкой в Сибирь.

Помощник резво соскочил с его ног, другой поднял его с бревна и нахлобучил парик на голову, третий накинул на плечи шубенку. Шафиров плакал, кривя рот. Его свели под руки — почти снесли — по лесенке вниз с эшафота, повели в Сенат выслушивать поздравления с царской милостью. Ноги не слушались его, голова тряслась и моталась из стороны в сторону. В Сенате, в знакомом длинном коридоре, силы вовсе ему отказали, и он, бормоча что-то себе под нос и прижимая руки к груди, к сердцу, сел на пол. Лейб-медик Гови отворил ему кровь. Опустошенно глядя на ее бег, он выговорил негромко, но внятно, и был услышан:

— Лучше было бы, если б выпустили мне кровь из большой жилы, чтобы прекратить мои мучения...

Впрочем, это пожелание было риторическим: царская милость, как и царский гнев, не имеют обратной силы.

Попугай Федя копошился в своей клетке, суетливо переступал с жердочки на пол корявыми мужицкими ногами и укоризненно поглядывал на хозяина: за весь вечер Дивьер не сказал ему ни слова, ни разу не почесал ему лазоревую грудку серебряной чесалкой в форме руки с вытянутым указательным пальцем. Попугай был недоволен.

Был недоволен и Дивьер. Откинувшись в кресле, он разбросал ноги с выпуклыми сильными икрами и следил за ходом часовой стрелки. На столе рядом с золотыми часами стоял жбан имбирного пива и кружка, из которой Дивьер время от времени отпивал.

Лакоста должен был явиться с минуты на минуту. Предстоящий разговор с ним тяготил Антуана Дивьера.

Дело, как будто, было совершенно ясным, единственно возможный выход из положения найден своевременно. Документ составлен предельно убедительно и мягко... Но как объяснить все это Яну? Как подготовить его? "Дорогой Ян, обстоятельства сложились таким образом..." Нет, это слишком сухо. "Дорогой Ян, лучше сегодня проиграть парик, чем завтра — голову..." Тоже не годится, чересчур игриво и колко для Лакосты, человека нежного. Может, начать с Яшки, с его будущего? А какое у него теперь может быть будущее? О, черт побери этот вечер и этот разговор!

Увидев покорно улыбающегося Лакосту, Дивьер подобрался в кресле, поджал губы.

— Садись, Ян, дорогой, — сказал он. — Пива? Вот кружка... Я должен подготовить тебя к одной неожиданности. Ты едешь в ссылку, в Сибирь. Я исколотал ее для тебя.

Теперь Лакоста улыбался недоверчиво. Из-за кружки глаза его поблескивали тревожно.

— Если ты сегодня не поедешь в ссылку, — сердито продолжал Дивьер, — завтра тебе отрубят голову. Ну, через месяц. Я знаю, что говорю.

— Но за что? — опуская кружку, спросил Лакоста.

— Какая разница! — удивился Дивьер непониманию Лакосты. — Ссылку я тебе устроил за нерадение по службе: в позапрошлом месяце ты самовольно отлучился в Москву. Через неделю тебя обвинят в том, что ты ездил туда для тайного сговора с государственным преступником Шафировым.

— Но его же помиловал царь! — потерянно возразил Лакоста. — И, потом...

— Его помиловали, а тебя не помилуют, — перебил Дивьер. — Петр Павлович сидит не в Сибири, а в Новгороде и, надо думать, долго там не просидит — вернется. А для тебя, Ян, ссылка — это спасение от смерти.

— А... надолго я туда должен ехать? — спросил Лакоста.

— До освобождения, — сказал Дивьер и, придвинувшись поближе к Лакосте, понизил голос: — Шафиров осужден, Веселовские в бегах, теперь ты... Получается, что один я остался, и это очень заметно. Я не знаю, сколько я продержусь.

— А Яша, — тоскливо сказал Лакоста. — Что с ним будет?

— Пусть пока живет у меня, — сказал Дивьер. — Шафиров вернется — мальчик пойдет к нему. Так лучше для всех.

— Куда я должен ехать? — спросил Лакоста. — И когда?

— Вот предписание, — сказал Дивьер, вынимая из кармана бумагу. — Село Воскресенское, на Байкале. Это, правда, далеко, зато почти безопасно: там о тебе никто не вспомнит, даст Бог. Содержание тебе тоже определено небольшое, чтоб не бросалось в глаза.

— А ты ведь меня, действительно, спасаешь от смерти, — кладя руку на плечо Дивьера, сказал Лакоста.

— Да, — сказал Дивьер. — Хорошо, что ты это понимаешь... Я хотел тебя как-то подготовить, но у меня, наверно, не получилось.

— Еще пять дней... — читая ссылочное предписание, сказал Лакоста. — Туда, наверно, ехать месяца два.

— Около трех, — уточнил Дивьер. — Ты поедешь в повозке, с двумя конвойными. Тут уж ничего не поделаешь.

— Меня посадят на цепь? — робко спросил Лакоста.

— Нет! — усмехнулся Дивьер. — Это я устроил. И конвой — мои люди, они тебе мешать на будут.

— Это все из-за Прута? — помедлив, спросил Лакоста.

— Не только, — глядя в сторону, еле слышно сказал Дивьер. — Прут, Вытащи, Шафиров. Слишком много... Государь иногда не владеет собой, в этом дело. Государь болен, Ян, тяжело болен.

— Это он велел... меня... — выдавил Лакоста.

— К счастью для тебя — нет! — покачал головой Дивьер. — Но нашлись люди, которые ему о тебе напомнили.

— У меня, кажется, не было врагов, — заметил Лакоста.

— Эти люди не хотели сделать тебе плохо, — сказал Дивьер. — Они хотели сделать хорошо себе. Гнев царя одним приносит вред, а другим — пользу. Тот, кто напомнил, рассчитывал получить награду за усердие... Через неделю я доложу государю о том, что ты наказан за плохую службу, и на этом все успокоится.

— А у тебя, Антуан, появится еще один враг, — сказал Лакоста. — Тот, что останется без награды.

— Ну, это не так страшно! — рассудил Дивьер. — Мой час еще не пришел. А придет — какая разница: одним врагом больше, одним меньше.

Они замолчали, каждый всматриваясь в свое перед собою: Дивьер — в непришедший, но уже обозначившийся в пути Час, Лакоста — в село Воскресенское, что на берегу Байкала. Хорошо, что ехать туда можно без колодок, без медвежьей цепи.

— А Шафиров — из-за Прута? — со жгучим, неодолимым любопытством спасшегося спросил Лакоста. — Но, если ты не можешь, Антуан — не отвечай.

— Из-за Прута, — сведя тонкие брови, сказал Дивьер. — "Плата за Прут" — он сам так и говорил, и, на свою беду, не один раз и недостаточно тихо... Я предупреждал его, Ян. Но эти польские евреи такие самонадеянные, такие спесивые! И так любят высываться!

— Ему плохо пришлось, — сказал Лакоста. — И в подвале, и там, на площади... Страшно!

— Да! — охотно согласился Дивьер. — Это была скверная шутка. Но, — он привычно перешел на полусшепот, — Высочайшая! Я говорю тебе, Ян: Его величество болен. Возражать ему — значит, подставлять под топор собственную голову. Он всех подозревает, и императрицу тоже. После каждого домашнего скандала он выходит из себя на два-три дня, и тогда летят головы. И голова Екатерины Алексеевны тоже держится только на одной шее.

— Это значит... — Лакоста дотронулся до локтя Дивьера, глядящего мрачно.

— Это значит, — откликнулся Дивьер, — что лучше бы мне всего этого не знать, да и тебе тоже. И еще это значит, что я голоден, как тысяча чертей, и мы сейчас будем есть и пить, много есть и много пить. И что это мы сидим в темноте! Эй! Кто-нибудь! Зажгите свечи! Ужинать!

В комнату стремительно и неслышно вошла Анна Даниловна.

— Одну только минуточку, Антоша! — сказала Анна Даниловна. — Все уже готово давно! Ну, слава Богу — ты хочешь есть, значит, ты здоров. А я уж думала, на тебя лихоимка какая напала негодная!

Лакей поспешно зажигал свечи. Попугай Федя, часто мигая и трясая розовым хохолком, вывалил

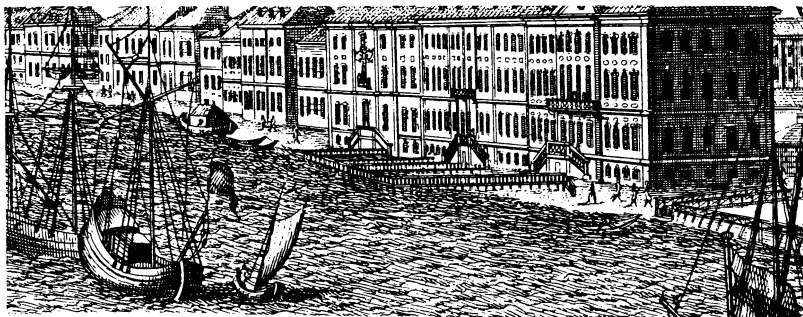
набок черный квадратный язык, щелкнул клювом и сочно засвистал по-пиратски.

Повозка, запряженная парой лошадей, выехала из Санкт-Петербурга перед полуднем. Позднеапрельское солнце приятно пригревало, густая грязь запеклась и покрылась тонкой ломкой корочкой. Воздух над московской дорогой был насыщен запахом свежей хвои и тем особенным весенним привкусом гниения и зачатия, который заставляет молодых людей думать о бесконечности жизни, а стариков — о близкой смерти.

Лошади быстро брякали копытами по тугой земле, возница, сдвинув шапку на затылок, грел лысину на солнце. Конвоиры, сидя рядышком против Лакосты, обстоятельно рассуждали о ценах на сено и о каком-то офицере по имени Елисей Жубряк. Подъезжали уже к Шалашку.

Мельком взглянув на просеку, ведущую к веселому хутору, Лакоста отвернулся. Какая, действительно, разница, за что ехать в ссылку — за нерадивую службу или за убийство кавалера Рене Лемора! Все это — и служба, и кавалер — осталось уже позади и помещается как бы в ином измерении, где живое необъяснимым образом перевито с мертвым. И каждый прошедший час, и каждая верста весенней дороги навсегда остаются в этом "позади"... И все же есть нечто привлекательное в этом долгом и странном путешествии в село Воскресенское, что на Байкале: не надо больше служить грустным шутком, и конвоиры куда менее страшны, чем царь Петр Алексеевич. Лошади тянут повозку, ты сидишь в этой повозке. Это, пожалуй, впервые за много-много лет, может, впервые в сознательной жизни, когда я еду совершенно осво-

божденно, не испытывая никаких перед кем-либо обязательств — они все перерублены, отделены от меня, и ничего с этим не поделаешь. Да, да, освобожденно! Никто меня не позовет к царю, никто не заставит делать то, чего я делать не хочу. Я один, если не считать этих симпатичных и совершенно чужих мне конвоиров, толкующих о каком-то неведомом мне человеке по имени Елисей Жубряк. Я снова родился на свет чудесно безответственным человеком без корней и без прошлого. Лошади везут, я еду. Наверно, Степан Вытащи хотел испытать подобное чувство, когда говорил, что мечтает стать ребенком. Три месяца дороги, три месяца свободы. А потом — "до освобождения", освобождения из ссылки или освобождения от жизни. И если мне суждено будет когда-нибудь проехать назад по этой дороге, миновать Шалашок и вернуться в Санкт-Петербург — я послушно и нетерпеливо вернусь в свое прошлое, где живое так неразумно и жестоко отделено от мертвого.



## ЭПИЛОГ. 1738

**В** субботний день 15 июля на Адмиралтейском острове, на торговой площади против нового Гостиного двора, многолюдная толпа Санкт-петербуржцев наблюдала за тем, как специалисты в красных рубахах укладывали вокруг высокого столба сухие березовые поленья, вязанки хвороста и охапки соломы. Специалисты работали ответственно и прилежно: дело имело скандальный характер, казнь преступников была утверждена самой императрицей Анной Иоанновной. Празднично настроенный народ жевал пироги и лузгал подсолнухи. В толпе толкались потные продавцы кваса и сбитня. Женщины и дети торговали поштучно яблоками. На окраине площади били, повалив на землю, воришку.

Преступников еще не привезли, и люди то и дело поглядывали на огороженный солдатами проход, ведущий от строящегося проспекта через площадь к столбу. Хворост и дрова поднялись довольно высоко и почти достигли круглой площадочки, на которую осужденные должны были быть поставлены, чтоб смотреть на них было удобней и чтоб огню, запален-



ному у самой земли, лучше было разгораться и набирать силу. Один из специалистов, влезши на площадочку и ухватившись одной рукою за тело столба, ловил другой, свободной, бросаемые ему снизу чурки и аккуратно укладывал их вокруг себя. Зрители в шутку советовали ему не свалиться. Но, если б он свалился, это только повеселило бы публику и скрасило ожидание, становящееся уже томительным.

Появление тюремной повозки было встречено гулом оживления, тотчас, впрочем, улегшимся: предстоявшее требовало внимания и сосредоточенности. Повозка была открытая, без бортов. К чурбану, укрепленному посреди повозки, прикованы были двое — кряжистый плотный старик, по глаза заросший пушистой белой бородой, и средних лет высокий русоголовый мужчина с раздутым, черно-синим от побоев лицом. Избитый стоял спокойно, не совсем, видно, понимая, что тут происходит, а старик яростно рвался с цепи. Не доезжая столба кляча, запряженная в повозку, остановилась, и палач отцепил приговоренных от чурбана. Руки их остались скованными, и старик потрясал оковами, а избитый шел сам, мелкими шаркающими шагами: один его глаз совсем затек, а другой плохо видел. Около лесенки, ведущей на столб, на его площадочку, старик и русский остановились, и их сразу плотно облепил конвой и палачи. Первым затасили наверх старика и, уперев его ногами в площадочку, поднятые его руки приковали к вбитому в столб, уже у самой его верхушки, крюку — так, что старик почти повис, едва касаясь носками опоры. Со вторым, избитым, было куда меньше возни.

Скороговоркой прочитанный приговор никого не интересовал — все его и так знали. Проверив работу подручных, главный палач не спеша двинулся вокруг

столба, поджигая проложенный соломой хворост. Закурился легкий голубой дымок, из груди искусно сложенных дров вырвались желтые ленты пламени. Толпа, затаив дыхание, ждала первого вопля казнимых.

В этой чуткой, зыбкой тишине к пустым торговым рядам подъехала крестьянская телега. В телеге, укрытые рогожами, лежали две свиные туши и сидел в задке тощий старик в лаптях и в рядновых портах, с волосатым диким лицом лешего.

— Эй, леший, приехали! — слезая с облучка, сказал возница — рябой мужик с высокими татарскими скулами. — Плати, что ль!

Покопавшись за пазухой, старик достал медную монетку, черную от времени.

— Вот, — сказал старик. — Как договаривались.

— Ты б добавил! — попросил рябой. — Торговли, вон, нет никакой — опять человек казнят смертью, все глядеть побегли... Добавь!

— Да откуда я тебе возьму! — удивленно спросил старик и охолодил просящего взглядом густокоричневых острых глаз. — Как договаривались!

— Ну, заладил! — отступил рябой. — Не хочешь — не надо... Ишь, уставился глазами-то своими. Леший ты, а не каторжник!

— А я и не каторжник, и не леший, — примирительно улыбнулся старик. — А вез ты свободного старика Яна Лакосту. На-ка вот тебе еще полушку по этому случаю.

Отвернувшись от рябого мужика, Лакоста пошагал на площадь. Там, из-за спин и голов, он недолго глядел на рвущийся в небо огненный вихрь, в сердцевине которого чернели две человеческие фигурки, похожие на личинки, а потом спросил:

— Кого жгут и за что?

— Жида Бороха Лейбова за совращение им в жидовскую веру отставного морского флота капитан-поручика Возницына, — охотно ответили Лакосте. — Слева жид, а справа, во-он тамочки, Возницын.

Костер вошел в высшую свою силу, и уже нельзя было отделить в нем жида от капитана. До боли в глазах вглядываясь в пламя, Лакоста старался угадать там Бороха Лейбова — и видел перед собою подвал шафировского дворца, и пасхальный стол, и Бороха, с отвагой безумца протягивающего царю Петру черную ермолку... Значит, Борох слева. Несчастный Борох.

Выбравшись из толпы, Лакоста обогнул площадь и, взглянув в последний раз на опадающий уже костер, пошел вдоль реки. До Дивьера идти было недалеко, и Лакоста не спешил... Вот прошлое и открылось, в первый же день — мертвое и слева, и справа. Петр Алексеевич давным-давно в могиле, а костры продолжают пылать на площадях. "Жида Бороха Лейбова за совращение"... На дворе 1738-й год, а в центре Санкт-Петербурга инквизиторы волокут людей в огонь. Двести лет назад его, Лакосты, предки и предки Дивьера бежали из Испании от таких вот инквизиторов — и вот их потомки попали из огня да в полымя. Бог знает, сколько за этим костром последует других, и кто в них будет гореть! Он, Лакоста? Или ему, старику, посчастливится умереть своей смертью, а сожгут внука его, Якова? Или детей и внуков Якова? В благословенном Гамбурге еврейю грозят неприятности от своих же евреев, и это в порядке вещей — но там никому и в голову не придет убивать тебя только за то, что ты еврей! Это просто невозможно! Яша смог

бы стать там почтенным врачом или адвокатом, и никто бы не послал его ни в ссылку, ни на костер.

Дом Дивьера не изменился за эти годы — все такой же прочный и красивый, он приветливо глядел на воду своими высокими окнами. На стук отворил молодой нарядный лакей и, не отпуская двери, устоялся на Лакосту презрительно и нагло.

— Мне к Антон Мануйловичу, — просительно сказал Лакоста. — К Дивьеру!

— Ты спятил, что ли, дед? — скривился в ухмылке лакей. — К Дивьеру в Сибирь езжай, на каторгу. А ну, проваливай отсюда!

Вот и Дивьер. Оставался еще Шафиров.

К нему Лакоста предусмотрительно явился с черного хода, и там кухарка подозрительно оглядела его порты и лапти.

— Ты рыбу, что ль, принес? — закончив огляд, спросила, наконец, опрятная кухарка.

— Значит, Петр Павлович... здесь... — задыхаясь от вдруг налетевшего волнения, сказал Лакоста. — Передайте ему — Лакоста пришел. Ла-кос-та!

Шафиров выбежал на коротеньких ножках, обнял. Расцепив руки, поправил парик и коснулся пальцами уголков повлажневших глаз.

— Боже мой, это вы... Боже мой!

— Извините меня за этот вид, — сказал Лакоста, не решаясь сесть. — Я сегодня только оттуда.

— В последний раз вы меня видели не в лучшем виде, — улыбнулся Шафиров. — А теперь я снова, слава Богу, и в чинах, и в орденах... Но что ж это я! Сейчас вам принесут одежду.

— Один только вопрос, — шагнул Лакоста. — Мой внук... он...

— Он у меня, — сказал Шафиров. — Дивьер привел его ко мне.

— Антуан на каторге? — спросил Лакоста.

— В ссылке! — возражающе махнул рукой Шафиров. — И, знаете, с кем? С этим подлецом Скорняковым-Писаревым! Все-таки я дождался! А Меншиков, светлейший мерзавец? Умер! В ссылке! Нищим! А я сухим вышел из воды! Мне матушка Екатерина Алексеевна шпагу Великого Петра подарила! За заслуги!.. Что это вы улыбаетесь?

— Вы все такой же, Петр Павлович! — сказал Лакоста. — Время вас не берет.

— Конечно, — согласился Шафиров, оборачиваясь к зеркалу. Там, в светлом венецианском стекле, улыбались друг другу два ветхих старика — один улыбкою победной, а другой доброй и жалкой.

Одежды по распоряжению хозяина принесли целый ворох, так что можно было одеть пяток голых. Из этого блещущего серебряным и золотым шитьем холма Лакоста вытянул просторный кафтан мышинного цвета, коричневые суконные штаны и крепкие дорожные башмаки.

— Если бы я не знал, что вы сегодня вернулись из ссылки, у меня создалось бы впечатление, что вы туда отправляетесь, — состроив озабоченную мину, пошутил Шафиров. — К чему вам эти ужасные башмаки? Наденьте вот эти легкие, с пряжками!

— Я только возвращаюсь из ссылки, — одергивая кафтан, тихонько сказал Лакоста. — Мне еще ехать и ехать...

— Куда? — удивленно воскликнул Шафиров.

— В Гамбург, — сказал Лакоста.

— Да вы просто сошли с ума, — сердито сказал Шафиров. — Какой Гамбург? Зачем?.. Я устрою вам

здесь приличное содержание, квартиру. И о Яше подумайте — ему жениться пора!

— Я подумал, — упрямо сказал Лакоста. — Я был сегодня утром в Гостином дворе.

— Ну, и что? — спросил Шафиров.

— Я видел, как сожгли Бороха Лейбова...

— Ну, и что?! — повторил Шафиров. — Он был сумасшедший, маниак! Вы помните, как он напятил ермолку на Петра Алексеевича? Меня тогда чуть удар не хватил! И на кой черт он ввязался в эту дикую историю с капитаном! Мы, все-таки, живем в России, и надо об этом помнить!

— Когда я жил в Гамбурге, я об этом не помнил, — сказал Лакоста. — Зато теперь вспоминаю часто.

— Но что вам дался этот Борох Лейбов? — продолжал наседать Шафиров. — Кто он вам — родственник, друг? Да сколько раз вы его видели в жизни — один, два?

— Сегодня он, завтра — я, — покачивая головой, сказал Лакоста. — И не то, что я так уж смертельно боюсь, не только в этом дело. Просто я, Петр Павлович, отвык за эти годы жить в постоянном страхе: в<sup>от</sup>, придет какой-то хам и потащит тебя в застенки за то, что ты сумасшедший старый еврей. Мне, следовательно, остаются два пути: либо вернуться в Воскресенское, либо — в Гамбург. Согласитесь, что разумнее вернуться в Гамбург.

— Но Яшу-то вы оставите здесь? — неуверенно спросил Шафиров. — Он ведь уже почти русский.

— Нет, — сказал Лакоста. — Яша пойдет со мной.

Они вышли в тот же день, перед вечером — старик в крепких новых башмаках и одетый по-дорожному юноша. Шафировская коляска с дорожным сундучком

путников ждала на четвертой версте Литовской дороги: Лакоста решил непременно начать свой путь на родину пешком и, оказавшись у него под рукой горстка пепла, он незаметно от внука посыпал бы им свою плешь. Возвращение на родину после сорока шести лет странствий, легкомысленных и страшных, не должно было состояться в роскошной коляске. Собственно, это было даже и не обыкновенное возвращение — это было бегство, и первые шаги бегства следовало проделать пешком, сбивая ноги. И сбивание ног перед посадкой в шафировскую коляску имело для Лакосты особое значение.

Коляска должна была доставить путников на ближайший постоялый двор, откуда они собирались отправиться дальше на попутных. После трех часов езды по лесной дороге подъехали ко двору, в совершенной тьме. На стук дверь замызганной избы отворил сонный хозяин, угрюмо корябавший патлатую голову.

Следом за хозяином, несшим сундучок, они вошли в тесную каморку с дощатыми стенами, не достающими до потолка. Кроме них, на постоялом дворе никогда не было. Хозяин, покачивавшийся то ли со сна, то ли по нетрезвому делу, грохнул сундучком об пол у широкого топчана, застланного линялым лоскутным одеялом. И ничего бы не изменилось, если бы дед с внуком узнали о том, что именно этим одеялом прикрывалась Маша Лакоста в то утро, когда патлатый хозяин рылся в ее дорожном сундучке, отбирая одежду в уплату за предприимчивость кавалера Рене Лемора...

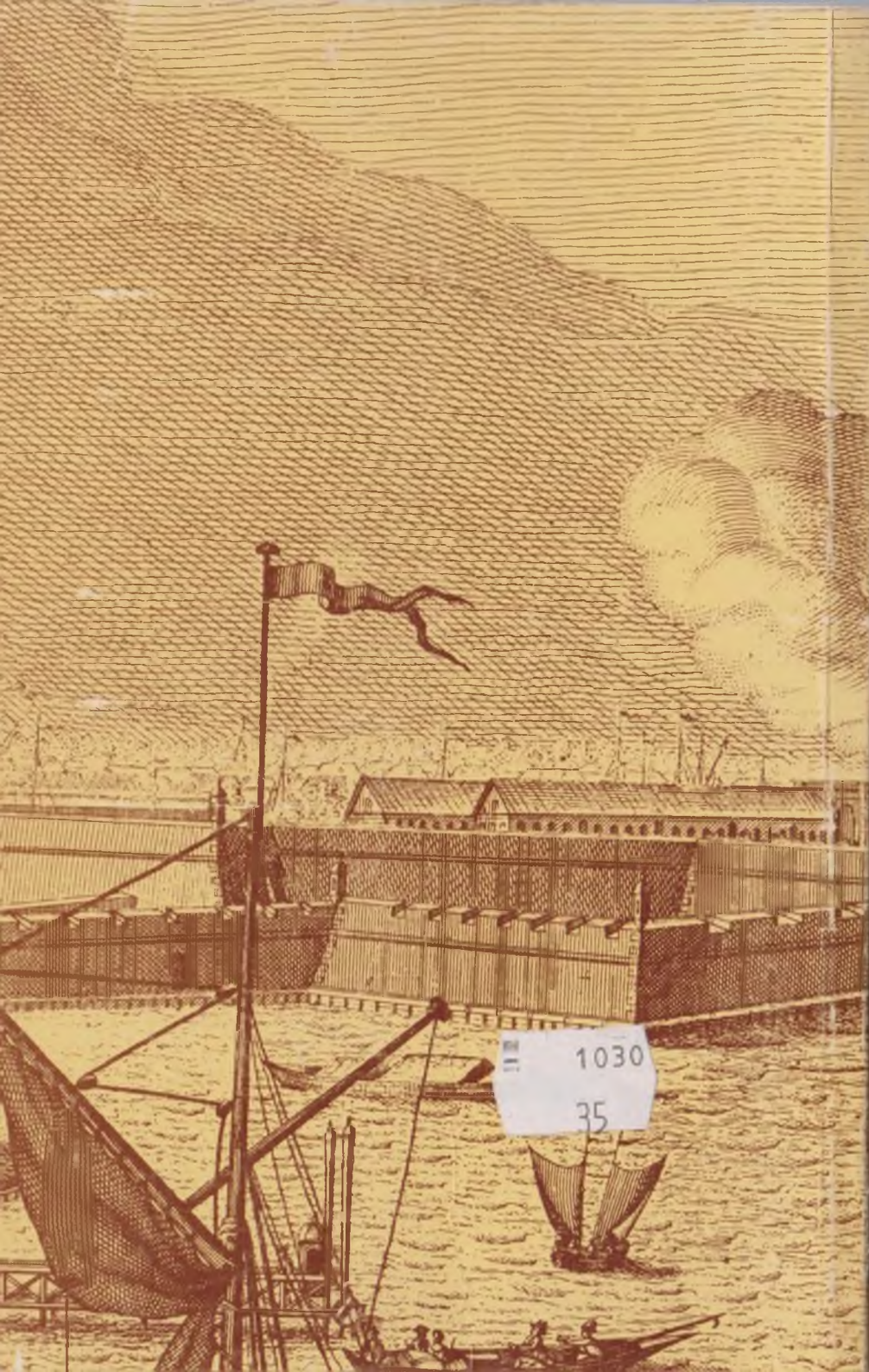
Им повезло: наутро они сторговались с проезжим купчиком, отправлявшимся с грузом сырых кож в Смоленск, и он пустил их в свою телегу.

Шпили гамбургских соборов они увидели два месяца спустя, девятнадцатого сентября 1738 года.

Двадцать пятого августа 1943 года прямые потомки Яна Лакосты: мужчины Иозеф, Иоганн и Генрих, женщины Хильда и Розалинда, дети Ганс, Хьюберт и Минна были убиты в газовой камере и сожжены в печи крематория концентрационного лагеря Бухенвальд, в Германии.

1981—1982.





ДАВИД МАРКИШ

# шуты

